www.LibAid.Ru – Электронная библиотека русской литературы

**Константин Воробьёв**

**Это мы, Господи!…**

*Луце жъ бы потяту быти,*

*неже полонену быти*

«Слово о полку Игореве»

[*Лучше быть убиту от мечей,*

*чем от рук поганых полонену*

(Поэтическое переложение Н. А. Заболоцкого)]

**Глава первая**

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня

— Официр? Актив официр? — удивленно уставился он в переносицу Сергея.

— Лейтенант…

— Зо? Их аух лейтнант! [Вот как? Я тоже лейтенант!(нем.)]

— Ну и черт с тобой! — обозлился Сергей.

— Вас?

— Што ви хофорийт? — помог переводчик.

— Говорю, пусть есть дадут… за три дня некогда было разу пожрать…

…Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках У другого он просто болтался на животе.

— Хальт! — простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекаемой из него какой-то жидкостью

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить.

— Комт, менш! [Идем, человек]

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня…» — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят… А где политрук Гриша?… Целых шесть годов не видел мать!… Это одиннадцатая? Нет, тринадцатая… если переступлю — жив…»

— Нах линкс! [Налево!]

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца…

Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высясь в полутьме.

— Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и… не дайте-е по-мере-е-еть!… О-о-й, о-о-ох, а-а-ай! — тягуче жаловался кто-то, голосом, полным смертельной тоски.

— Това-а-рищи-и! О-ох, дороги-ия-а… один глоточек воды-и… хоть ка-а-пельку-у… роди-и-имаи-и!

— Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!

— Эй, кому сухарь за закурку?…

— …и до одного посек, значит… вот вдвоем мы только и того… без рук… попали к «ему»…

— Хто взял тут палатку?

— В кровь исуса мать!…

— Земляк, оставь разок потянуть, а?

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку.

«Ну— с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» -с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный… когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть… Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце… Смерть есть смерть!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дээсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

— Без трех минут девять, — взглянул на часы политрук, — фрицы и францы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине…

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин.

— Ии-иююю-у-юю… Гахх! Гахх! Ии-юю-уу-юю…

— Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

— Бац, телеграммы! — воскликнул писарь, наклоняясь,к полу погреба. То же самое, как-то невольно, проделали Сергей и политрук.

— Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине, — пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

— Потренируем нервишки, а?

— Пи-и-июю-у-ю! — вдруг слишком близко завыло в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли, медленно стекали с них.

— Мина залетела в яму, — проговорил Сергей, — писарь убит, — указал он политруку глазами на ветви груши…

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

— А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! — удивился политрук.

— Да-да, — отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только… только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля…

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движения среди пленных.

— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу. — Прячь, братва, что у кого есть!…

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

— Комагерр! [Ко мне!] — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея. — Мантиль ап! Ап, шнелль! [Шинель снимай! Снимай, быстрей!]

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

— Вас ист дас? О, гут, прима! [Что такое? О, хорошо, красиво!] — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

— Это же память!

— Вас бамат?

— Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея…

Глава вторая

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях… В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!…

…Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» — подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запамятовал, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел… велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как…

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички…

"Да Горький так говорил! В кинокартине «Ленин в 1918 году», — вспомнил Сергей.

— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.

— Серегой, стало быть…

— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит… Ярославский я, из Данилова, может, слыхал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

— Помогает, слышь, крепко при побоях, — объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья. Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях», — решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе… — А помолчав, добавил — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь…

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

— Лос! Лос! [Давай! Давай!] — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию. Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком… Контуженная левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч. — Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость, — продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

— Братцы, ну как жа оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.

— Ай вчера от грудей? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.

— Не умею, родненькие, на ходу, я жа не жеребец…

— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.

— Ишь, чего захотел! Знать, не голодный…

— Черт плюгавый!…

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

— Журавель, ребята, виден, попьем водички!

— Эти напоят… захлебнешься…

— Ан, слава богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью… Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши…

— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

— Ишь, сука паршивая, камрата заимел…

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

— Тетя, вынеси хоть картошку сырую…

— Пить…

— Корочку…

— Окурок…

— Да-а… Сюда-аа… Аа-я-оо-а-яя!…

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, кряхтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу… Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

— Ложись, Серег, — предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

— Что такое? Что? — бросился к нему Сергей.

— Убили-таки, ироды! — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину. — Вот… тебя тоже убьют, Серег… беги, — хрипел он. — Володька похож на тебя… сын. На фронте он… Ну, возьми мешок… Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развевающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

Глава третья

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные…

…Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотоле равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

— Ххле-леб! — со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

— Аида, ребята, к третьему бараку, — почему-то шепотом проговорил он. — Разделим хлебушко…

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

— Эй, ты,… в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба.

Не так— то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб…

— Ну как, братва, ровна? — спросил парень, закончив раскладку крошек.

— Вон там от горбушки надоть…

— Добавить суды…

— Ну, будя, будя! — проговорил парень. — Теперя становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» — называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей, почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку…

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его…

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг…

Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба… Личико не шевелилось. — Давно здесь? — стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

— Месяц… нет, меньше, — тоненьким голоском пропищало личико. — Болен я… Пальцы отваливаются, — продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

— Как отваливаются?

— Гнали нас… на дороге танкист-немец… снял с меня валенки… пять верст босой… ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились… Теперь только три… завтра, наверное, тоже отвалятся… И ноги гниют тоже… Тут нас много таких…

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!… Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

— Шесть верст до дому… Знала б мама… принесла бы картошки вареной, хлеба тоже… На шоссе мы живем… деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут… И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной… и хлеба тоже… Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным…»

— Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, — ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: — Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

— Э, нет! Поглядите-ка вот…

Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

— Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

— Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью…

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка — предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

— Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! — обрадовался искренне Сергей. — Только вот котелка у меня нет…

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

— На черпак баланды хватает, — пояснил он…Третий барак выстроился за получением баланды.

— Сказывают, гушша имеется в баланде…

— Потому наш барак последний, так она на дне…

— Не напирай, не напирай!

— Люди добрые, исделайте божескую милость, получить ба на двоих… посудинки нету…

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.

— Ну, добавь… ради христа, добавь!…

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утоптанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды…

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

— Больше нету баланды?!

— Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря…

— Р-расходись в б-барак! — кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча.

— Какой-то мешок не давал малец полицаям… ну, и того — сбросили с нар. В четвертый понесли… помер, стало быть, — пояснил сосед.

Глава четвертая

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть… Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:

— Ххле-епп, ххле-еп… хле-е…

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых…

…В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро, Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф», — спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос… Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

— Пи-и-ить… ии-ить…

А потом вновь затихает — иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью — Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтобы не убили меня… Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет…»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда скатываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука…

Да, крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

— Слезь… с моего… места, — прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженая дынеобразная голова.

— Ты што, из четвертого появился?

— Слазь…

— Откуда этот хлюст взялся?

— Место, слышь, требует…

— В чем дело? В чем дело, почему голый, а? Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

— Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» — мелькнула мысль.

— Я болен… видимо, тиф.

— Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

— Раздели полицейские… обмундирование комсоставское… трудно не взять…

— Вы командир?

— Лейтенант… Помогите же, доктор… я потерял силы… Это вот мое место… сбросили, лежал там…

— Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

— Как живем, лейтенант? — спросил он, взобравшись к Сергею. — Правая нога? Гм… явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать… как-нибудь, да!

— Резать не дам! — упрямо выговорил Сергей. — Я еще буду драться!…

— Дерутся здоровые, лейтенант… конечно, и в моральном смысле, да! Но… одну минуту! — Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. — Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний… И вот — баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!…

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки.

«Я не нужен себе калекой, нет», — думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

— Отлично! Будет толк. Боль — не что иное, как представление о боли, да! — отчеканил доктор. — Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется…

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

— Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и… доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?…

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

— И, — продолжал Сергей, — я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

— Следовательно?

— Я люблю мою Родину!

— И?

— Вы ведь немного старше меня!…

— Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да…

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие…

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санинструктор». Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.

— Та-ак, Ничего серьезного. Помажем…

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

— Чрезвычайно полезно. Иди!

— Дело в том, — объяснил Лучин Сергею, — что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели… Так-то, товарищ лейтенант, да!…

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля, близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

— Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут…

Думали другие: «Зелень, лес… Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей бараков зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда и почти поллитровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступился от бараков тиф, переваляв почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только полрубца плечевого! Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели — и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей…

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней — пленные.

— Стучат, доктор, а?

— Зовут, лейтенант, да! Вот подтает снежок — обстановка улучшится. Махнем, да!…

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

Глава пятая

Клейка и непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги…

За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты…

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты… Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

— Лос, лос, менш! — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами…

…Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных «бычок», бросились на него со всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел…

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева»…

За городом, в дымке утренних паров, встало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — майоры и равные им, капитаны и равные им — и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий день Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто — двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров — Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир…

Как— то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

— Подозрительна эта штука, — указал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. — Спирт у них в таких бывает…

— И что?

— Как что? Фляга есть у меня, понял?

— Ну?

— На носу баранки гну!… Полицейским отдадим — килограмм хлеба получим в побег.

Немец— старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку.

— Задушить бы — и айда! — крикнул на него капитан.

— Закричит гад, немцы за стеной…

— Вот что, — предложил Николаев, — захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке…

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

— Шнелль, менш! — наконец не выдержал тот.

— Не лезет, дедушка!

— Вас ист дас, гедюшка?

— Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

— Лос, сакрамент! [Давай, проклятый!] — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

— Ду люгст. Вильст нихт арбайтен?! [Ты врешь Не хочешь работать?!]

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки.

— Готово! — пояснил он Сергею. — Древесный только…

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

— Вот тебе и смылись! — сокрушался капитан.

— Опытнее будем! — злился Сергей.

…В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба — буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей — ребятишек двенадцати лет и стариков — семидесяти и выше.

В семь часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак — раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженой голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился…

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

— Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-чиик, Ясненьки-и-ий све-е-етик ни-на-гля-а-дный За-а што-о тебе-ее доста-а-а-лась до-о-ля го-орькая, Го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-ща-сна-ая!…

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет:

— Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть…

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения…

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания…

Глава шестая

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты-опутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно — повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это — смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» — две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд?…

Жестокой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» — мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту. «Нельзя, подохнешь!» — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь…»

— Нельзя, понимаешь, сволочь?! — громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

— Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет…»

— Я не сошел с ума, капитан, — говорит Сергей, — но я до смерти хочу есть… противное желание!

— У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

— Есть «не есть»! — пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись», — решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись — бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

— Разевай рот!

Полностью засадил Сергей ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

— Больше в тебе нет ничего, — успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось… Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое… Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! — приказывает оно. — Мы еще дадим себя почувствовать!…»

— Нет, капитан, во мне осталось все, что было! — со злобой отвечает Сергей.

— Да вот оно, что было в тебе! — указывает на кучку сероватой массы Николаев.

— Ты одурел, мой друг, от голода, — уже спокойней проговорил Сергей, — возьми мою пайку и съешь…

На четвертый день пути, пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и казалось, не было в городе хоть единственного не пострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву "П" гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве "П" решено было приделать букву "Г", отчего виселица преобразилась в перевернутую "Ш". Если на букве "П" можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями — под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар. Было там все — начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок — да и завалится в грязь, вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

— Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы божьей Апросиньи…

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

— Штой-то у тебя?

— Ицо.

— Сколько?

— Пайка.

— Дай погляжу… какой-то она таво… желтая.

— От породистой курицы потому…

— А ты што курицу то…?

— Выходит же счастье вот таким тухтарям!

— И хто ему дал ицо, черти его возьми…

Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдыжки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

— Кому трусятины? Кому трусятины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

— Да съешь ты сам свою трусятину! Помрешь ить, пока продашь.

— Эй, кому загнать по дешевке?

— Што-о?

— Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!

— Кому ножик за понкрутку?

— У кого кусок резины есть?…

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

— А знаешь, — предложил Николаев, — не мешало бы сходить на эту черную биржу.

— Пайку перепродать?

— Нет, кальсоны; покурить бы малость… Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

— По направлению виселицы — шагом марш! — скомандовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

— Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек, — шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво— красным шаром закатывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

— Дай проход! Разойдись в стороны! — послышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

— Военно-полевой суд… — начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки…

— А много мучки-то взяли? — послышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы.

— Дорогие, век не забуду… не надо! — заколотил себя кулаками в грудь «скворец». — Не буду… с голоду это я… Родимые, ненаглядные мои, — бредил он, упав на колени.

— Подымись, дура бловая! — спокойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа анчихристы! Увстань жа, ну!…

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову…

…В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш бараков, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания — кто, когда и как ел.

— Ну, встаешь это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттччщщщии-и!… Пара поджаренных яичек, два-три ломтика ветчинки… Да-а! Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка… знаете такое? А в обед…

— Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

— Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

— А понимаете, не хотел. Привык!

— Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном маслице… румяненький, горяченький… с сахарцом, понимаете?

— Да, конечно, но… рацион, так сказать…

— Ах, что там! Это вы просто… извините, дурак были, что не кушали!…

Это в углу, где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

— Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш — ббабахх! А в двенадцать — в столовую. Опять берешь: солянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь — и до семи!…

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном маслице». Это были холостяки…

…В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

— У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

— Скажите, товарищ подполковник, вы… если не ошибаюсь?

— Да, я армянин.

— Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

— Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?…

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

— Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

— Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека, — горячился лейтенант Воронов. — Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-заморыша. Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак — „воздух“. Ваше решение»? А Пискунов стоял-стоял да и решил: "Я, — говорит, — подаю команду — «спасайся кто как может!» Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!…

Глава седьмая

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

— В Германию везут. Надо бежать в пути, — пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

— Кажется, все! — покачал головой Николаев.

— Нет. Остановки.

— Не выпустят…

— Тогда… тогда останется последняя возможность — вот! — указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сыворотка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов. А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

— Раус, раус! [Вон, вон] — вопили немцы.

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунас», — разобрал Сергей…

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов… Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

— Яаки! — не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок.

— Да, яблоки…

Каунасский лагерь "Г" был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные… железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

…После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака… самому», — думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там — было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывал на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

— А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей.

— Как?

— Подкатим валун к кустам, а там — врассыпную!…

— Побьют… День, видно…

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

— Ну, малыш! — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него. — Держись!… А вы — как знаете! — бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик — не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!…

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны… Не больше сорока убитых, а остальные и мы…» — думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь — беглецы будут наказаны в комендатуре…

…Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

— Аакх ыие аукх?

— Не понимаю, — качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

— Ванюшкой… Иваном.

— А-а-о. А ыая — Ыйэяв.

— Что вы говорите?

«Хорошо. А меня — Сергеем», — написал Сергей.

— Ойкхяо ы-е эыхк?

— Восемнадцать, — понял Ванюшка.

— А-а-о.

— Да хорошего-то мало!

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если бы сейчас была вчерашняя возможность — ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

— Немедленно! — с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» — размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря "Г" в неизвестном направлении…

…Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана…

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найтить хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

— Завел он всех в лес — а ить нас батальон полный! — и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом, — говорит, — отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по лошшине итить надо было, а ветер — спасу нима, нояберь потому был… Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» — аш земля загудела — и пошли!… Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в подштанниках! У нас ба, к примеру, за спанье в подштанниках на передовой — трибунал! а им — хоть ба хны!… Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под поветью хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, знать, дурак… Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его — ну хоть ты што тут! Кольнул… Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, ишшо потрескивает штой-то внутрях. Ну, и када штычок залез, примерно, по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит… Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автана-бил, потому интересна. Полез. Гляжу — кулечки, коробочки какие-то… Разорвал одну — баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а… Перервал пополам — цыгареты! Э, думаю стоп! Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков, — говорит, — возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время бою на цыгареты трахвейные позарился…

Пока солому набивал в мешок — баночки в голянищу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем», — говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянище!… Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород — и я. Он через тын — и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи, — говорит, — мешок к сливине». Привязал. «А теперь, — говорит, — примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Ээ, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком — аш с дулом нырнул. «Вот, — говорит комбат, — так нельзя пырять. Я, — говорит, — видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо, — говорит, — у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка… Ну, назад когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата — потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» — говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой — баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул, думал в анбар, и говорю: возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек…

…Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

Глава восьмая

Саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки-путанки «бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки…

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

— Это, наверное, из барака больных, — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

— Идите, ребята, в третий барак, вон там! — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно, — думал Сергей, — моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем… Но это же невозможно!… Так умереть страшно…»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы — жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти — двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки…

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами, пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только пленным ведомая, «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали… На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды… Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз — полежу, полюбуюсь — да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять — дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день…

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

— Мы тоже умрем? — просто спросил он Сергея.

— Нет.

— А как же? Мне уже трудно залезать на нары… а только пятый день тут…

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

— Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем… Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба… Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда…

Старик спокойно и равнодушно -глядел на Сергея.

— Нас шестьсот человек, — продолжал тот. — И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то… человек сто останется, может быть, в живых…

— Нет. Я думал… Идите.

— Но почему же нет?

— В одну минуту… четыре пулемета выбрасывают… четыре тысячи восемьсот пуль… Восемь пуль на каждого… Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки… Каждый метр — три ступеньки… В минуту — шесть ступенек… значит — пятнадцать минут… Следовательно, сто двадцать пуль… на каждого. Идите…

Как— то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

— Мы теперь живем, — зашептал он, — вот, глядите! — И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. — Ассенизатор мой земляк оказался… возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам по столько!…

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть…

…Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные дерева, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нижет его иголками прохлада вечеров. Редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

— Ты хочешь умереть, лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку.

— Как все, — тихо ответил тот.

— Но можно иначе… Хочешь?

— Да.

— Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас…

— Но лицо у тебя… и борода.

— Все равно ведь!…

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

— Все бараки, за исключением пятого, — строиться! — прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

— Капитан Андреев!

— Я.

— Подполковник Полуянов!

— Умер вчера.

— Старший лейтенант Михайлюк!

— В пятом… умирает.

— Лейтенант Костров!

— Я.

— Воентехник Рябцев!

— Я, — отозвался Ванюшка…

— Умер.

— В пятом.

— Умер.

— Умер…

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию…

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все равно, решительно все! Но — хлеба, ради бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

— …и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковырянная гвоздем, — все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку…

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

— У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка, — под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке. — Больше в мешке ничего не должно быть!

— Понятно! — ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

— Гра-аждане, да што же это вы заду-умали? — послышался вдруг слабый стон. — Нельзя этого делать, расстреляют всех…

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

— Хоть один останется в живых!

— Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул головой — и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

— А-а, дрянь! — короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

— Кто помешает — убью!… Открою дверь — уйдете все… кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

— Обмотку дай! — бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

— Одной рукой держись… Открывай вагон…

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

— Никак! — слышится его голос, срываемый встречным ветром. — Тяжело… упаду сейчас!…

— Отталкивайся ногами! Сильней, ну! — кричит ему Сергей.

Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

— Давай, давай, парень, не задерживай! — слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

— Даю, ребята! — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц… Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

— Не надо! В окно вылезем!…

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос…

Глава девятая

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза — войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу — скребанул ею сыпучее, корявистое.

«В земле я… зарыт!…»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!… Пленный я!…»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А— а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти… где-то Ванюшка?…»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги; Сергей же — ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон… но тогда будут пятна крови на шпалах и песке…»

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?…»

Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?… И брюква тоже…» Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана.

Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

— Я… я не слабенький, Сергей… Это я… ну потому что… Ты же знаешь!…

— Ничего! От радости плакать можно… И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! — успокоение произнес Сергей.

…Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина…

Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их — защищаться до смерти. Вот и нужны голыши… А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!…

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

— Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка.

— Попросим. Не дадут — тогда!… Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

— Тук-тук-тук! Тихо.

— Тук-тук-тук-тук!

— Кае тен? [Кто там? (лит.)] — доносится голос женщины на непонятном языке.

— Будьте любезны, — стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка, — вы понимаете по-русски?

В комнате завозились, скрипнула половица.

— Кае ира? [Кто это?]

— По-русски, по-русски понимаете?

— Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

— …Как… что… вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

— Дайте, пожалуйста, нам хлеба… немного.

— Вы… пленчики? Только тише… хозяин там, — указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

— Да.

— Как же вам… Я не хозяйка. Работаю у них…

— Как жаль!

— Обождите, — оживилась девушка, — видите там… ну, я не знаю, как по-русски… вон она!…

— Кадка?! — подсказал Сергей.

— Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее… каткю… опрокиньте — и в сторону…

— Есть!

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщевую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца.

— Спасибо, милая девушка! Дай бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

— Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна наш проводник. Она должна быть все время справа, — говорил Сергей.

Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

…Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд! Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки… Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки… Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними. Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «тппрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

— Останавливаться не надо, — прошептал Сергей. — Это крестьянин пасет лошадей…

Из— за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

— Здравствуй, хозяин! — приветствовали его беглецы.

— Аш не супранту русишкай. Мано жмона шек тэк… [Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит (лит.).]

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

— А ты, дядя, не полицейский? — серьезно спросил Сергей.

— О, Езус Мария, не, не! — поняв, замотал головой крестьянин. — На эйнаме! — настаивал он.

— Можно пойти, — сказал, подумав, Сергей. — Ведь в доме не знают, что он встретил нас… не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади — ты. В случае чего — вот! — мигнул на карманы с голышами…

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

— Тут, знаешь ли, свои, — буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

— Русские товарищи? — улыбнулась женщина.

— Вы нас извините, пожалуйста, — любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

«Как же они не боятся меня? — взглянул он на хозяина. — Это же не лицо!…»

— Иезас не понимает по-русски, — кивнула женщина в сторону мужа. — Да вы садитесь, — продолжала она, — тут никто не видит…

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке…

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

— Тпружиня, тпружиня! — негромко позвал Ванюшка.

Корова ответила доверчивым мычанием.

— Ручная! Подоим немного, — обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

— Дай ей хлеба! — предложил Сергей. Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

— Скорей, хлеб конч… — и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану…

…Дни конца сентября стояли погожие, солнечные.

Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать — двадцать пять километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем — родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножья вороха соломы и подняли испуганный гвалт! Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случаи, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

— Извини, отец… Холодно, зашли вот.

— Невелика беда, служивые! — чисто по-русски ответил дед. — Зашли б в дом: я да бабка… Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

— Без оружия вам не под стать. Берданка — милое дело!… Вы ить на Двинск [Двинск — название города Даугавпилса до 1917 года (прим, ред.).] держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу… Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

…Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей стучаться в окна, с трудом произнося «прашау, докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет, — вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

— Поздравляю! — пожал ему руку Сергей. — В ноябре мне исполнится двадцать три… К тому времени мы будем у своих!…

— А знаешь, давай устроим праздник!

— Как же?

— Разведаем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки… Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем… три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-васильков отказом «устроить праздник».

— Давай, — решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку…

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем…

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка „праздник“ в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»…

«Неужели он мог?… Но ведь бывает иногда и такое…»

По— пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! — мысленно выругался Сергей. — Кто может жить тут?… Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!…»

Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман — шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там… в доме?… Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипеньем вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли…

Глава десятая

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление: шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали натыкаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги… Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу… Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Болото!» — мелькнула страшная догадка, и, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад — топь. Влево — трясина. Вперед — вода и осока. Вправо — все вместе. Куда же?

«Вперед!., в бога мать!… Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит… ползает она!…»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе — провалишься!…»

Сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу…

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоен осенний ветер.

«В— пе-ред…»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины…

«В— пе-е…»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки…

«Не надо, Аня… Мне так хорошо… Милая ты, славная у меня сестренка…»

Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Одень…»

«Я сейчас вернусь, мама… Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай… Это смерть…»

«Ах да!…»

Хлюп.

Через три минуты:

— Хлюп. Через пять:

— Хлюп…

«Какой мягкий наш диван… Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках… Выключи радио — шумит оно… Какие белые эти березки!… Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!… Почему тяжело, душно?… Болото? Умираю? Сознание… Считай до десяти… Раз. Два. Три. Четыре… Три…»

— Считай, считай!… Ну, милый, хороший, считай!… Четыре… Пять… Семь…

— Считай, сволочь!… Восемь… Девять…

— Считай!

— Счи-та-ай!

— Счи-и…

«Смерть? Жи-ить хочу-у… жи-и-ить…»

— Хлюп.

— Хлюп…

Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

— Хлюп.

— Хлюп…

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет… Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине… Значит — берег…»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть… Подохну сидя. Надо двигаться… Не важно куда… просто двигаться».

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево…»

— Болото!

«Некуда. Островок…»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

— Аа-ауу-о-о-аауу!…

Выл нудно, тягуче, и когда затихал — становилось самому жутко.

— Уу-у-ааа-ооо-ууу!…

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами…

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало— в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно…»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!…»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыхнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» — решил Сергей.

— Пожалуйста! — свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского «Беломорканала» и лежала, видать только что оставленная после чтения, «Правда».

— Пожалуйста, проходите вперед. Но… минуточку, вы мокрый и… Соня, Соня! Приготовь побыстрей белье и все верхнее… Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

— Скажите… откуда это?

— Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши…

— Куда? — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

— Понятно… в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал задыхаясь вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще?»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов — и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь!…

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны.

— Ого-го-го! — закричал Сергей. — Това-аа-ри-щии! Ре-бя-та-аа!…

Молчит лес. Шушукаются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук…

…Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять — пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

— Я похож на испанского мавра, — иронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек:

— Семь моих товарищей за вашим домом… Ждут.

По паневежскому округу разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленчика» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку», — думал Сергей…

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссейной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

— Простите, вы говорите по-русски?

— Немного.

— Я прошу у вас кусок хлеба…

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» — подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

— Рэнки наверх! — по-литовски и по-русски крикнул выкатившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

— Ужейк и троба! [Заходи в дом! (лит.)]

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа — стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца.

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

— Что они со мной хотят делать? — обратился Сергей к хозяину.

— Отправят завтра в волость. В полицию…

— А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» — думает он.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

— Что у тебя? — спрашивает хозяин.

— Короста… Знаете, такая? Ну, чесотка… И вши. Полтора года в бане не был… Много вшей… ходят поверху. Остаются, где сижу… При огне не видно только…

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая огарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

— Пойдем спать! — выпрямляется хозяин. — Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции…

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

— Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

— Подождем еще! — шепчет Сергей. — Погреемся пока…

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

— Раз-два… Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!…

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогнаны бревна — надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

— Да ведь грабли это! Наступил я…

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

— Нажми, товарищ Костров!

— Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея.

— Две минуты перерыв.

— Есть!

— Приступай.

— Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

— Еще нажим — и…

— Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома.

— Гады! Русского офицера так не возьмешь!…

Глава одиннадцатая

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

— Пригодится, дай срок!…

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленчика», многое порасспрашивает у него.

— Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

— А что?

— Да поскорей надо бы…

— Помогайте!

— Дак если б товарищи были поближе… Видней дело и сподручней тогда…Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Миколай второй!» Правда аль нет?…

…Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевитой синевой опухоли, и ноет нога непрестанно — тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами — и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! — желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. — Если бы это!…»

Ночью снял вожжи, вязавшие на лугу лошадь, и замотал ими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

— Хорошее дело — «плащ», — грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?…»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачуяли беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть — выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог… В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

— Эй, бальшавикас! Шаутувас ира? [Эй, большевик! Винтовка есть? (лит.)] -крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

— Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! — ответил Сергей, знавший, что значит «шаутувас» по-литовски.

— Кае?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы…

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

— Эйк ченай, китайп — нушаусим! [Иди сюда, иначе — застрелим! (лит.)] — хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решился тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

— Эх ты, мразь вонючая! — скрипя зубами, шептал Сергей, трясясь от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

…Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкинской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытнейшим криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, желтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел:

— Фами-и-илия?

— Руссиновский.

— И-имя?

— Петр.

— Из какого ла-агеря?

— Не был в лагере.

— Парашюти-и-ист? — удивился полицейский.

— Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

— Парашютист?

— Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедро револьвер.

— Давно в Литве?

— Отправьте меня отсюда.

— Последний раз: давно у на-ас?

— У вас? У кого это?

— Ахх!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

— Убью до смерти… Говори-и!

— Говорить буду с немцами… с твоими хозяевами, холуй!…

— Ахх!

— Ахх!

— Ахх!

…Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? — силился вспомнить Сергей. — Росса… Русса…» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишкисе был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку…

От местечка Купишкис до похожего на него Субачюса — сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачайские полицейские относились к купишкинским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачайской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

— Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! — приближаясь, начал один в черном. — А? Расскажешь?

— Я шел.

— Куда?

— На мою родину…

— Родину-у? Мы тебе дадим ее… Атришките ям ран-кас! [Развяжите ему руки! (лит.)]

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

— Сук! [Крути! (лит.)]

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

— Где ты был, а?… Сколько вас, скажешь?…

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колючее хватко зажало сердце, легкие, грудь… Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей, — он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?…

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

— Курить хочешь?

— Нет.

— На!

Полицейский протягивал толстую папиросу, Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

— На, говорю!…

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

— Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

Глава двенадцатая

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих… А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

…Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

— Кальт, менш? [Холодно, человек? (нем.)]

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежскую окружную тюрьму.

— Эйнам! [Идем! (лит.)]

Вновь заскользили ноги — теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

— Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

— Тэйп, тэйп! [Так, так! (лит.)] — таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

— Су гинклу паэме? [С оружием взяли. (лит.)]

— Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

— По синим стреляют. Нас тоже. Считают…

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним, одетый в штатский костюм.

— Пойдем! — обратился тот по-русски к беглецу.

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

— Фамилия?

— Рус… Руссиновский.

— Лет?

— Двадцать три.

— Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно…

— Мне двадцать три года!

— Брешешь, сволочь! Какой веры?

— Самой глубокой.

— Дурак! Веры какой, понимаешь?

— Я сказал.

— Идиот!

…Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39», «41» — пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

— Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос.

— Вы русские? — обрадовался Сергей.

— Тут, дядя, со всех концов… и не принято расспрашивать — как, когда, откуда… понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером — по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

— Не спишь, земляк? — послышался шепот.

— Нет.

— Слушай: поведут на допрос, то… если заведут в подвал такой с водой — не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так… Теперь: налево что дверь — там стреляют… Только мимо головы, на вершок так… Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь… пожилой человек… выдавать там кого — не надо… Сам знаешь…

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек… сам знаешь».

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он соседа.

— Ну, сколько есть… Тридцать восемь, сорок, может…

— Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три…

— Да ну-у? — удивился сосед и приподнялся на локоть. — Ох и испаскудили ж тебя, парень!…

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

…Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от дверей по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу — параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия — Руссиновский. Имя Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, — сделано, пережито, окончено!… Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякива-ние. Звуки ползли откуда-то снизу по стене.

— Тук-тук… тук-тук-тук… тук… тук-тук-тук-тук…

Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась. «Э-э, так это же с первого этажа! — вспомнил Сергей вчерашний разговор, — подо мной ведь камера смертников!» Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием. А то можно было б утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе.

Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену. Вся она, от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат — расстреляны в Паневежской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова — проклятья убийцам. Были куплеты красноармейских песен, и были саратовские непечатные частушки… И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист-стену из книги-жизни… На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз очинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел:

Часы зари коричневым разливом.

Окрашивают небо за тюрьмой.

До умопомрачения лениво

За дверью ходит часовой…

И каждый день решетчатые блики

Мне солнце выстилает на стене,

И каждый день все новые улики

Жандармы предъявляют мне.

То я свалился с неба с парашютом,

То я взорвал, убил и сжег дотла…

И, высосанный голодом, как спрутом,

Стою я у дубового стола

Я вижу на столе игру жандармских пальцев,

Прикрою веки — ширь родных полей…

С печальным шелестом кружась в воздушном вальсе,

Ложатся листья на панель.

В Литве октябрь. В Калуге теперь тож

Кричат грачи по-прежнему горласто…

В овинах бубликами пахнет рожь…

Эх, побывать бы там — и умереть, и баста!

Я сел на стул. В глазах разгул огней,

В ушах трезвон волшебных колоколен…

Ну ж, не томи, жандарм, давай скорей!

Кто вам сказал, что я сегодня болен'

Я голоден — который час!…

Но я готов за милый край за синий

Собаку— Гитлера и суком ниже -вас

Повесить вон на той осине!

Жандарм! Ты глуп, как тысяча ослов!

Меня ты не поймешь, напрасно разум силя:

Как это я из всех на свете слов

Милей не знаю, чем — Россия!…

…Чердак тюрьмы был полностью завален носильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, нарком-внутдельские, летные фуражки и пилотки; сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки — должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки — в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, ссутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов… Не проходя, в горле, у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза. И не выдержал:

— Ш-што, господин начальник? Мерещутся? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. — Не дают мертвецы спать? Жить? И не-да-дим! Вот! И детям вашим… тоже!… Никогда! Каких людей… стихи на стене… Подлюги… вашу в Христа мать!… На, на! Мерзавец! Снимай мои штаны! Я вам…

И, в бешенстве полосуя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног…

Глава тринадцатая

Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея.

— С бураков поправляются, Руссиновский! — шутил щербатый Петренко, — и ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное…

До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить «ужин», съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель, с чувством достоинства и превосходства, тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые пятнадцать минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты! Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она — и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в четыре часа пятнадцать минут утра за ними приезжали из гестапо…

Никто из заключенных тридцать девятой не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали:

— Сегодня живы!

После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи.

— Не спишь, Петренко?

— Как и ты.

— Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе…

— Разве это меняет дело?

— Да не то! Видно, совесть их, што ль, начинает мучить… все-таки глядеть в глаза…

— Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?

— Сам.

— Дурак!

— Может быть… А слушай, Петренко… ты как будешь… ну, стоять на коленях… или…

— Умру стоя!…

— И я…

Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками…

На пятый день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок тридцать девятой камеры.

— Бакибаев Муса! Молчание.

— Серебряков Владимир!

— Петренко Иван!

— Григоревский Антон! Сдать все!…

Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко.

…В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись, ежеминутно понукаемые, извозчичьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролеток седоки.

У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж.

— Зетц хир! [Садись сюда!] — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал:

— Комт! [Иди!]

В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал:

— Садись, товарищ!

Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков продолжавших разговаривать немцев.

— Сидеть не могу.

— Почему же?

— Раны там, — занес назад руку Сергей.

— Ах, это то, что в лесу?

— Нет. Палач в тюрьме…

— Ты — Петр Руссиновский? Это… это с группой в десять?

— Один.

— В Рокишкисе?

— В Купишкисе.

— В августе?

— Двадцать шестого октября.

— Ты не похож на русского… Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром!… А сколько времени?

— Двадцать пять дней.

— Это какого же числа?

— Мм… в сентябре.

Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых навыкате глаз, которые «говорили», что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.

— Нет, нет. Лет сколько?

— Двадцать тр…

«Дурак, — мелькнула запоздавшая мысль, — за двадцать пять дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у двадцатитрехлетнего…»

— Двадцать восемь.

Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.

— Как это было в самом начале?

— Нас вез…

Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись, тихо и плавно полетел в темноту…

Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Но гестаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы.

«Ах, я ведь сижу!» — догадался Сергей.

Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом… но почему же я не помню, когда… и не больно?» — удивился Сергей.

— Так… Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину… А потом что?

Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове-комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.

— Потом? А-а, вот вы…

И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно и там дребезжит треснувшим армейским котелком.

— Да, да! Куда шел ты потом?

— В… знаешь?

— Что-о? Это как?

Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.

— В сентябре попал в плен… везли. Я двадцать пять дней бежал… Все!

Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище:

— Я тебя вижу насквозь, мерзавец!

— Скверное удовольствие для тебя!…

— Где бежал?

— Близ… мм-м… Шяуляя.

— Альзо! — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него…

И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло браунинга сычиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий…

Глава четырнадцатая

Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилия и имя «Руссиновский Петр» по нескольку раз повторялись начальником конвоя.

— Где Руссиновский? Где он? Где Петр Руссиновский?

Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал:

— Я!

Паневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства.

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах.

— Ттрум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком; сплюснет нос о стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять:

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум…

На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. Пять водомойных канав, глубиною в восемь метров, были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линий железных колей, кучились бурты подвозимой в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На восемнадцатитонный вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод.

После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Мотякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Мотякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого наголову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпеж оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежища у крестьян. В сорока верстах от Паневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом «присобачились», как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитной характер Мотякина, за его чечетку под собственные губные трели-рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам «гражус бальшавикай…» ["Красивые большевики" (лит.).]. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за десять километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине «герр оберет». Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд мотякинцев…

Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности! Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и, как ни старался Мотякин уничтожить это там же на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолы детей… И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Мотякин и Устинов были схвачены, «как жирные перепелки», по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен…

С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав не в одной «студии». Но ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение: «Язык мой — враг мой» — и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере.

Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному меланхоличному Устинову.

— Как ты думаешь, — громко произносил он и — тише: — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы Родине, тем что киснем в тюрьме, а?

Устинов молчал.

— Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику… либавскую, например?

Устинов молчал. Тогда Мотякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх:

— Находясь в застенках гестапо, — произнося это слово, Мотякин делал ударение на "о", — и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу!…

Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах двадцать конвойных, с фронта и тыла, — шесть. Мысль о побеге в дороге была, таким образом, явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходящие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных.

Сергей, Устинов и Мотякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена: неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Мотякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Мотякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезет под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту…

…Было ветренное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор; теснились в кучу — теперь все равные в серых халатах — политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие Советской власти, укрыватели «товарищей»… и прочие и прочие…

Мотякин «стрелял» окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами.

— По разу потянуть вам, — говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Мотякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это — последнее утро, встречаемое им в тюрьме, — в это день решено было бежать…

А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру.

— На допрос пойдешь, — шепнул Мотякин. — Мы возвращаемся… Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра…

Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием ненависть и борьба, — только, шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде.

«Развинтились, проклятые! — обозлился Сергей на свои нервы. — А ну, взять себя в руки!»

«Есть взять, товарищ лейтенант!…»

В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. По тому, как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще не виданное здесь.

— Ви бежаль, что кушаль котель, я?

— Да.

— Ми понимайт. Ви — юнга… мелет еще. Ви любийт сфобот, прирот, я?

— Как и вы.

— О, корошо, корошо… Ви курите? Пошалюйст, фот… Ми вам не будем уже тюрьма… ви будете у нас, корошо? Ми не будем работайт… будем поекайт в лес… ви рассказайт, кде шифет ваша што бежаль… рассказайт, кто даль кушайт… Корошо, я?

Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?… Два — это немного… но если только два!»

— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.

— О, сказайт сечас… поекайт зафтра. «А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил:

— Я бежал один.

— Ви рассказайт, кто кушаль дафаль!…

— Я не заходил в дома. Я… воровал.

— Што фарафаль?

— Все… морковку, картошку…

— Што есть — фарафаль?

— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.

— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко… Тафаль литофци, корошо, я?… Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!…

— Как жаль! Я этого не знал… Я бы не воровал, а заходил в дома…

— Ви не мошна фарафаль! — обозлился гестаповец. — Ви кодиль дом!

— Я не заходил в дома!…

— Ви не кочет сказайт? Ми будем сечас расстреляй тебя!…

— Я не заходил в дома!…

— А-а, ферфлюхт, мистр-менш!

Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают…

— Комт!

Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.

— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.

— Кушайт! — и удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови… Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.

А— а, проклятый червь навозный.

— Сечас рассказайт, кте кушаль! Не рассказайт — стреляйт!… Айн… Цвай…

— Рассказайт!

— Цвай!

Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненые дула браунингов.

— Драй!…

Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена.

— Рассказайт!

Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.

«Чем они стреляют? Я, кажется, жив… А-а, это ведь крошки цемента от стен… Стреляют не по мне…»

И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.

— Тах-тах!

— …сказайт!

— Тах-тах!

Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина… А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.

Глава пятнадцатая

Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.

— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин. — Мы катастрофически рискуем лишиться баланды… Но, — продолжал он, — чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову. — А потому, — отвечал он же, — что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе…

Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.

Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два вагона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.

— Я отправляюсь на рекогносцировку, — доложил Мотякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов.

Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.

— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.

Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам…

Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.

«Крепись, лейтенант!… Может быть, это последнее…»

Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея… Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.

«Может быть, это последнее…»

Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:

— Ченай! Ченай! [Сюда! Сюда! (лит.)]

Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на бурт, скользя и падая на обледеневших бураках.

Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать…

«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать бурт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.

— Ну, кур, дар ду? [Ну, где еще двое? (лит.)]

— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!…

Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.

В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.

— Почему бежал?

— Это мое право.

— Ты сейчас увидишь свое собачье право!

— Знаю… твоя постыдная обязанность!… Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея…

В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.

Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.

Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтоб не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.

На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.

— Попов! Куликов! Приготовить вещи. Руссиновский! Приготовиться в кузницу!…

Громыхнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат…

…В одном исподнем белье, заломив руки, сидели, тесно прижавшись один к другому, четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы вырывали пряди волос. Но нет, это не сон. Это — быль и явь, это — неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!…

Измучив вконец тело, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ею же вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж! Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад. Тыквы куполов Новодевичьего монастыря до рези в глазах горели тогда в лучах нехотя уходившего за Воробьевы горы солнца. Таня… тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая: платье, лента в русых косах, глаза… У самой стены монастыря он рассказывал ей что-то очень простое и обычное из студенческой жизни, но тогда казавшееся ему интересным и особенным; они оба искренне и весело смеялись, и, конечно, не над тем, что он рассказывал. Просто хотелось тогда смеяться, прыгать и посылать воздушные поцелуи через Москву-реку всем карнизам цехов Дорхимзавода… Потом сын Вова, потом война… потом — плен, и… дергался замечтавшийся смертник, вскакивал на ноги, стягивал ворот посконной нательной рубахи до хрипоты, до пепельного налета на лице…

В середине ночи, часа за три до времени расстрела — четырех часов пятнадцати минут, — не выдержал один из обреченной семерки. Сняв кальсоны, он яростно начал разрывать их на части. Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на нары и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем?… Подогнув ноги, он резко опустился, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок…

Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере. Нет, теперь уж ничего, ничего нельзя было сделать… Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо… Иначе он и не мог. Только так, как было и должно быть! И только обрыв этой немноголистной повести нелепый… без подписи, без росчерка…

Глава шестнадцатая

Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрастье, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар.

Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди.

Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары-секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь! Ты знаешь ведь, сердце: мы мало жили… Слышишь, мое сердце? Знаешь? Я хочу жи-иить!!!

И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно! Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и… стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «с нами бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея — начальник вещевого склада — стояли поодаль у самой параши.

— Куликов!

— Попов!

— Руссиновский!

Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего.

— Я — Попов…

В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов.

«Такие не ползают на коленях!» — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом.

— Я — Руссиновский.

За дрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны.

— Идемте со мной!

Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним.

— Раус! — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся.

— Наслаждаетесь, господин начальник? — спросил, вздрагивая ноздрями, Сергей. — Куда ведете?

— Одевать вас.

— Зачем?

— Приказано. Отправлять будут.

— В лес?

— Туда вывозят голых… знаешь ведь…

…Над тюрьмой, в бездонной пропасти неба, пушистыми котятами шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружил вокруг висевшей над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее.

«…Значит, думают прямо тут…»

Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея…

По сонным зловещим улицам Паневежиса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай «бонзы».

Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм.

Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумп.

Пять странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу.

— Что они думают делать с нами, Руссиновский?

— Не знаю, Попов. Видишь: увозят…

— Пальцы окоченели… Давайте в чей-нибудь карман всунем руки.

— Жить думаете, Попов?

— Вы это не одобряете?

— Напротив. Вы просто не теряетесь…

— И не советую вам, пока живы…

«Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата.

В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуничным скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на «Дойче цайтунге» лежала треть буханки хлеба, а рядом — оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, «накладывался» маргарин: в баночку резко пырялся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба…

Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пыхтящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами: «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы?… Куда едете? Куда едете? Куда едете?…»

Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживленны. По мостовой, гремя клумпами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломы на спине; цокали извозчики; проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шяуляйской каторжной тюрьмы.

Бледно— розовым утром двадцать седьмого июня 1941 года фашисты оккупировали Шяуляй. По пустым, словно вымершим улицам днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города, у озера, не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шяуляй. В двух лагерях -физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные.

В Шяуляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941 — начале 1942 года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в четырехстах камерах, на чердаке — всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не одна тысяча. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убирали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей.

По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполненные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в четырех верстах. Из ста пятидесяти человек, везущих страшный груз, доходили туда сто двадцать. Возвращались восемьдесят — девяносто. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно.

Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он тридцать два патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним…

Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним — поджарые, похожие на гончих сук три немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее испитые и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним «сестры», становились в трех шагах спереди, а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии германского фронта…

Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилось просторнее в тюрьме, и наконец она совсем освободилась.

Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей… А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славила братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, тугогнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца:

Пусть вам будет мягкой литовская земля.

У подножья обелиска просинью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачовой лентой…

На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.

Глава семнадцатая

Камера Сергея была на пятом этаже и выходила окном на город. Взобравшись на стол, Сергей подолгу глядел на густо коптившие трубы завода, что наполовину виднелся в окно, на горящую склень озера у самой тюрьмы. Переводя взгляд на город, Сергей видел лишь разноцветные крыши домов. Казалось, будто город накрылся от декабрьского холода огромным детским одеялом из лоскутков…

Режим Шяуляйской тюрьмы мало чем отличался от Паневежской. Те же сто пятьдесят граммов хлеба в сутки и два раза баланда; так же не разрешалось за целый день присесть на край нар. По субботам заключенных сгоняли в тюремную католическую церковь. Помещалась она на пятом этаже в обширной и светлой комнате. В правом углу стоял довольно стройный орган. Под его звуки хор из надзирателей под управлением тюремного палача пытался петь что-то жалобное и проникновенное…

Порядок расстрела в Шяуляйской тюрьме был иной. В тот момент, когда огромный, крытый черным брезентом грузовик гестапо заезжал во двор тюрьмы, по разным камерам надзиратели и жандармы выискивали тех, кто значился в списках. Им связывали позади руки мягкой проволокой, и если обреченный сохранял мужество, то сам залезал в «Тетку Смерти», как заключенные называли грузовик, а если кому изменяли силы — его легко подхватывали гестаповцы и забрасывали в автомобиль.

Камера Сергея была обширной. Сидели в ней четырнадцать литовцев, Попов с Куликовым и молодая женщина с грудным ребенком. Камерная печь топилась один раз в три дня. Постоянный холод и сырость заставляли заключенных с раннего утра до отбоя становиться в круг и шагать, шагать по камере. Надзиратели разрешали женщине сидеть на нарах. Прижав желтую головку спящего ребенка к груди, мать постоянно подолгу глядела бархатными миндалевидными глазами в одну точку. Потом, встряхнув головой, словно спугивая надоевшую муху, поправляла тряпье на ребенке — и сколько было в этих осторожных движениях непринужденного изящества, сдержанности и спокойствия!

Ребенок плакал не всегда. Иногда этот крошечный девятнадцатый член камеры пробовал предъявлять свои права на жизнь и свободу. Ворочаясь, он пытался высвободить руки из разноцветного тряпья, и мать, улыбаясь ему, говорила тогда с ним медленно, слегка заглушенным голосом и почти проглатывая букву "р". Однокамерники отвели ей место у самой печки. И когда днем, сидя на нарах, она вдруг в тревожной дреме закрывала веки с длинными, стрельчато загнутыми ресницами, шагавшие по кругу заключенные останавливались, снимали с ног клумпы и, взяв их в руки, босиком продолжали путь…

По утрам, получая пайки хлеба, семнадцать «жертвовали» на ребенка. Целая горка ломтиков в двадцать пять граммов вырастала на коленях женщины. Тогда ее печальные глаза застилались влагой подступающих слез благодарности, она отказывалась, просила, протестовала, но семнадцать человек, внеся ей свою долю, как-то неловко ступая, поспешно отходили в сторону, в противоположный угол.

По ночам нависшую глыбу тьмы и безмолвия часто колыхал звонистый плач ребенка.

— Покентек, мано ангелели! Нябяилгай текс мумс лаукти! [Потерпи, мой ангел! Нам уже недолго осталось ждать! (лит.)] — звучал нежный успокаивающий голос.

И женщина не ошиблась. На пятый день ее заключения, судорожно прижав притихшего ребенка, она — жена литовского красного партизана — спокойно и молча взошла по сходням в «Тетку Смерти»…

Шел 1943 год. Попова и Куликова давно перевели в другую камеру. Сергей остался один среди литовцев. От постоянного ли недоедания или от холода распухли ноги. На сжиме под коленями и у ступни лопалась кожа, и из незаживающих ран сочилась красноватая жидкость. Часто кружилась голова и шла кровь носом. Тело покрылось пузырчатыми струпьями. И однажды в середине дня Сергей услышал свою фамилию. Пошатываясь и волоча клумпы, он вышел в коридор и спустился с надзирателем на первый этаж. В вещевом складе ему подали ветхую красноармейскую гимнастерку и шлем.

— А штаны получишь в лагере, — объяснил надзиратель.

Январский день был чистым и глубоким. Взбесившейся кошкой вцепился мороз в колени Сергея и начал разрывать их невидимыми когтями под кальсонами…

Под вечер Сергей вошел в ворота первого лагеря военнопленных в Шяуляе. Через огромный двор, петляя между четырьмя бараками, вилась лента пленных, построенных по два: было время получения баланды — литрового котелка на двоих.

Бараки первого лагеря были обширные, с двумя линиями трехъярусных нар. Закрывались на ночь они замками; во дворе рыскали овчарки. В бараке, куда затиснулся на ночь Сергей, по пазам неплотно сдвинутых стенных досок вытянулись желто-белые полосы льда и снега. Около единственной железной печки всю ночь напролет стоит очередь. Пленные держат в руках две-три щепки, а в карманах две-три мерзлые картошки, добытые где-нибудь днем. Не имеющий дров входит в долю исполу, то есть половину имеющейся картошки отдает обладателю щепки и таким образом приобретает право на печку.

Сергей устроился на нижних нарах. Голову бросил кому-то на клумпы, ноги затерялись где-то под худыми телами соседей, прижавшихся с боков в поисках тепла. В пять часов утра, крестя направо и налево ремнями и палками, «полицаи» произвели подъем. К тому времени во дворе уже стояли построенные по четыре жители остальных бараков: предстояло получение шестисот граммов хлеба и котелка теплой воды на четверых.

Жал мороз. В пролеты бараков, где стояли пленные, устремлялись снежные вихри. Ветер трепал полы шинелишек, давно потерявших вид и форму одежды, без единой пуговицы и крючка. Сосед Сергея поминутно выбегал из строя. Цокая клумпами и размахивая рукавами, он почти кричал от холода:

В темноте никто не видит тут и там

Приходи, кума, за хлебом — хлеба дам!

Пока он отплясывал, строй подвигался на несколько шагов вперед. «Кум» терял свою шеренгу и, видимо имея в виду Сергея, звал:

— Эй длинный в кухвайке! Где ты?

Ящик с хлебом стоял в пяти шагах от кухни. Подходившая шеренга в четыре человека получала из рук «полицая» серый кирпичик и самостоятельно забирала котелок с водой, стоящий на окне кухни. Хлеб брал левофланговый, «чай» — кто был справа. После этого четверка отходила в сторону и принималась за дележку.

Сергей не видел, кто взял хлеб. Задев его локтем, назад метнулся, держа на отлете котелок с водой, «кум». В ту же минуту сосед Сергея слева, также не принимавший участия в получении своего дневного пропитания, закричал истошным слезливым голосом:

— Да дяржите ж их, граждане! Дяржите!

— А пошто?

— Всю корвегу хлеба унесли!… Дяржитя-а!

Обернувшись, Сергей увидел, что они остались вдвоем. Хлеб, «чай» и два человека из его шеренги исчезли, затерявшись в предрассветной мгле и толпе до капли похожих друг на друга пленных…

В семь часов утра к лагерю приходят конвоиры и уводят пленных на работы в город. Оставшихся в лагере немцы разбивают на группы и до часу дня гоняют вокруг бараков. Тремя, четырьмя кучами по двести — триста человек топчутся, пошатываясь, по огромному кругу пленные. Немец зорко смотрит за теми, кто отвернул на уши от нестерпимого холода поля пилотки или всунул руки в карманы шинелишки. Такие отводятся в сторону, раздеваются догола и, опираясь на руки и пальцы ног, пятнадцать минут «делают мост».

— И скажи на милость, как любят они мучить людей! — печалятся в толпе.

— И каждый день ить…

— На то ен и немец… в прахриста мать!…

— Хвиззарядка потому…

— Грехи наши тяжкие…

В час дня топтанье по кругу прекращается. Пленные получают котелок баланды на двоих, тут же, на улице, съедают ее, а с двух до пяти часов вновь принимаются ходить. За весь день никто не смеет зайти в барак…

…И вновь в мучительном раздумье Сергей начал искать пути выхода на свободу. И вновь по ночам, ежась от холода, раздирая тело грязными ногтями и выковыривая впившихся в кожу паразитов, рисовал соблазнительные и отчаянные варианты побега. Знал: не один он лелеет эту мечту. Но не говорят в лагере открыто о ней, носят эту святую идею осторожно и бережно, выискивая тех, кому можно ее доверить.

Шел март. Наступала весна 1943 года. В полдни подсолнечные стороны бараков уже начинали нагреваться, длинней и голодней становились дни. В лагере подсыхала грязь. На раките, что была заключена немцами в лагерь вместе с пленными, набухали лоснящиеся красноватые почки. Они были клейкие и нежные, во рту отдавали горечью и тонко пахли лугом.

«Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам, чеканилось в уме слово. «Бе-ежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники… Нужен был хороший, надежный друг.

И лип Сергей к разговору кучки пленных, прислушивался к шепоту и стону, ловя в них эхо своего «бежать»…1943

Послесловие

Автобиографическая повесть «Это мы, господи» была написана в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. Ровно тридцать дней в доме No 8 на улице Глуосню в литовском городе Шяуляй писал Константин Воробьев о том, что довелось ему пережить в фашистском плену. Писал неистово, торопясь, зная что смертельная опасность рядом и надо успеть.

В 1946 году рукопись поступила в редакцию журнала «Новый мир». Поскольку автор представил лишь первую часть повести, вопрос о публикации был отложен до тех пор, пока не появится окончание. Однако вторая часть так и не была написана. В личном архиве писателя повесть целиком не сохранилась, но отдельные ее фрагменты вошли как законченные и художественно осмысленные отрывки в некоторые другие произведения.

Так получилось, что на целых сорок лет рукопись исчезла из поля зрения редакций и читателей. Лишь в 1985 году она была обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, куда была в свое время сдана вместе с архивом «Нового мира».

Материал повести автор предполагал использовать в своей будущей книге, главной для него, которую он задумал как продолжение повести «Крик». Написанная предельно просто и точно, новая книга, по словам Константина Воробьева, должна была стать «кардиограммой сердца». Автор предполагал дать ей заголовок «Это мы, господи!», хотя в архиве писателя имеются и другие варианты названия.

Крик

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы, мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона и майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет, — кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас — я тоже рыл — на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой — стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице — Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора — он ехал верхом — на плечах лежали белые, пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно — ему не хотелось отряхивать с себя снег.

— Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!

Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывается в низинке слева.

— Застынем за ночь на этом чертовом пупке, — сказал Васюков. Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным, узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывал Калач и командир роты.

— Окоп отрыть в полный профиль, — распорядился Калач. Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

— Не достал, — шепотом сообщил он. — Шинель хотят…

— За сколько? — спросил я.

— За пару литров первача… Жителей совсем мало. Ушли.

— А за что сам тяпнул? — поинтересовался я.

— Да не-е, это я пареных бураков порубал, — сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил, я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

— Между прочим, тут есть валяльня, — сказал он. — Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы… Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою…

— Давай-ка рыть, — предложил я. — Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать, ругаться — ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

— Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

— Давай сходим, — сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука — даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

— Держи, — таинственно сказал он, и пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах — приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

— Ктой-оо? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

— Мы, — сказал Васюков.

— А кто?

— Командиры, — сказал я.

Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали — мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.

В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная — вот и все!…

— Ну, что я говорил? — сказал Васюков.

Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:

— Забираем сейчас же!

— Все? — обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.

— Пока тридцать две пары, — сказал Васюков.

Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:

— Кладовщицей работаете тут?

Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду — ростом она была почти с меня. Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.

Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.

— А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.

— Ну, тогда пишите, — сказала она. Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

— Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

— А что там не так? — спросил я.

— Фамилия, — сказала она. — Зачем же вы мою ставите? Не дурите…— Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение — и больше фотокарточку, чем фамилию, — потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

— Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

— Берите, у меня его много, — зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя — мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице! Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.

— Давай, забирай остальные, — сказал я ему.

— А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

— Пошли, сказал я всем и оглянулся на кладовщицу. А вы разве остаетесь?

— Нет… Я после пойду, — сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

— Смотри там за всем, я скоро! — сказал я.

— Да ладно! — свирепо прошептал он. Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку…

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом всё же повернул назад к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

— Я вас провожу, хорошо?

— Так я же не одна хожу, — песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении…

В темноте мы долго запирали амбар, — петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, посколь-знувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза — испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

— Я нечаянно. Ей-богу! — искренне сказал я. — Вам очень больно?

— Да не-ет, — протянула она шепотом. — Сейчас пройдет.

— Подождите… Дайте я сам, — едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

— Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго-безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой… Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабею-щую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам, — лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

— Я хороший! — убежденно, почти зло сказал я. — У меня никогда никого не было… Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

— Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! — верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

— Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

— Машей, — сказал я.

— Мари-инкой, — протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губа-ми. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

— Подожди! крикнул я. — Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

— Ну, что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

— Мари-и-инка, — произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее — напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

— Не надо… Пожалуйста! Ну разве так можно!…

— Скажи: «Ты, Сергей», — просил я.

— Нет, — отбивалась она. — Не буду…

— Почему?

— Я боюсь…

— Чего?

— Не знаю…

— Ты мне не веришь?

— Не знаю… Я боюсь… И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

— Хорошо! — отрешенно и мужественно сказал я. — Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

— До свидания!

— Я приду завтра! — шепотом крикнул я.

— Нет-нет. Не надо!

— Днем приду, а потом еще вечером… Хорошо?

— Я не знаю…

Через пять минут я был в окопе.

В девять утра на наш пупок прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

— Младший лейтена-а-ант! — не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет, — ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

— Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

— Видал орла?

Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать — я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

— Что-о? — рассвирепел Калач. — Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ майор! — доложил я.

— Куда девал государственное имущество? — спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

— Это кооперативное, товарищ майор.

— Все равно! — отрезал Калач. — Где валенки, я спрашиваю?

— У бойцов на ногах, — ответил я.

— На ногах? — опешил майор. — Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!

— Есть возвратить самому! — повторил я и обернулся к окопу: — Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все — за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар… Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

— Может, вдвоем будем таскать?

— А ты не слыхал, что сказал майор? — ответил я. — Мне одному приказано.

— Да откуда он узнает!

— От стукача, который доложил ему!

— Это верно, — вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтораста в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался — я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара — курил и глядел в поле, и когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту — побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

«МАРИНКА ДУРА»

Открыл мне пацаненок лет семи, это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

— Марина Воронова тут живет? — спросил я его.

— Она сичас не живет, — сказал Колька, — она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

— Вот принес валенки, сказал я вместо «Здравствуй».

— Не налезли? — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

— Налезли, — сказал я, — но приказано вернуть. Все. Ясно?

— Ага, — сказала Маринка. — Сейчас выйду. Подождите…

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

— А ты красноармеец или командир?

— Командир, — сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча — я впереди, а она сзади, и когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать, как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

— Ну и что тут такого? Подумаешь! — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

— Увидят же… все село… бешеный, — не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое— как мы дошли до амбара, — как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

— У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался…

— Больше не буду, — сказал я.

— Да-а, не будешь ты…

Разве мог я после этого сдержать свое слово? Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

— Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом, и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача…

Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша».

То, чего я больше всего боялся и не хотел — возможного марша вперед, в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы догово-рились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

— Почапал, да? — мрачно спросил он. — А что сказать, ежели начальство явится?

— Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

— Порядок! — сказал Васюков. — Гляди, распишись там как моложено. В случае нужды — свистни. Поддержу…

Я поманил его подальше от окопа.

— Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? — решенно пообещал я.

— Так я же думал… Я же ничего такого не сказал, — растерянно забормотал он. — Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти — буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они трудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок, — до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

— Железобетонные, — сказал Васюков. — Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

— Ну и что? — спросил я.

— А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается…

Над селом клубился серый прах; истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

— Ну, тут… сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться…

— Пять минут! — сказал я. — Только взгляну, узнаю… Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании!

— Вообще-то можно и сбегать, — сказал позади меня Васюков. Ну, сколько тут? Двести метров!

Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село.

На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов — это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную, круглую воронку, обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел — нет, не Маринкину еще — разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая, круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура» — бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал», — понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло. В хате никого не было, но на столе, в крошеве стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

— Есть кто-нибудь?

— Есть! — слабо донесся откуда-то Колькин голос.

— Где ты? — спросил я.

— А тут… В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы — черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее, тут, при матери, и я сказал:

— Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть…

— Господи! — запричитала мать. — Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

— Нет, она чужая, — сказал я. — Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего…

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

— С седлом? — спросил он.

— С седлом.

— Хорошее?

— Новое. Комсоставское.

— Порядок! — сказал он. — Пригодится.

— Для кого?

— Ну, мало ли! Может, довоюемся до майоров, а тут такой случай… Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенина.

— Младший лейтенант Воронов! К капитану! — прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызвал всех командиров взводов роты. Совещание было коротким и для меня как праздник — нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья. Колья — в селе. Проволока — в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

— Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь, как я вчера перед Калачом, врезал передо мной каблуками и доложил:

— Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

— Пьяница ты! — шепотом сказал я ему. — Самогонщик! В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ лейтенант! — тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил:

— Ты чего?

— Ничего, — сказал я. — Просто ты пьяница. Самовольщик…

Пока принесли колючку — смерклось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

— Я думала, уже не придешь…

— У нас так не бывает, — с важностью заявил Васюков. — Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

— Лошадь? — спросила Маринка. — Она вон там, за сараем лежит.

— Это почему там? — удивился Васюков. — А седло где?

— Казаки взяли. Которые выволакивали…— Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

— Давай хлопочи насчет кольев, — сказал я ему. — Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный, извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

— Мама спрашивала, зачем ты приходил.

— А ты что сказала?

— Колька сказал…

— Что?

— Ну, что ты ко мне…

— А она что?

— Так… Ничего.

— А все же?

— Ну… чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

— Ох, Сережа! Пропала, видно, я…

— Почему? — с непонятной обидой к кому-то спросил я.

— Люблю я тебя… Так люблю, что… пропала я!

— Дурочка ты! — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это. — Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

— А я тебя?

— Куда я денусь?

— Не де-енешься! — пропела Маринка. — Я же хо-ро-ошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

— Дурочка ты…

Может, оттого, что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово…

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

— Не дотянул до часа, — не удержался он. — Хотя на войне, конечно, быстрее все делается…

— Будешь болтать — и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! — сказал я.

— Вообще-то выпить не мешало бы, — мечтательно протянул он. — И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

— А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? — спросил я.

— Так мы бы занюхали тут чем-нибудь…

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали — было неизвестно. Мы работали всю ночь — врывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальон-ные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной — там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты маленького и щуплого, с русой бородкой и темными умными глазами. Он почему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посреди хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к прито-локе, сидел на корточках — как чужой тут — хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно — на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскаляется? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь — тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты. У нее такой нос, будто она всё время плачет втихую… Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

— Значит, говорите, отпустили?

— Пришлось выпустить… Видно, не до нас теперь тюремщикам, — шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин.

Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

— И документик имеете?

— А то как же! Дают, — в тон ему отозвался хозяин.

— А он у вас далеко?

— Не так, чтоб слишком…

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

— Предъявите мне документ.

— Можно и предъявить, — со спокойной ехидцей сказал хозяин. — Вы что же, старшой тут по таким делам?

— Может, и старшой, — ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю.

— Ну-ну! — поощрил хозяин, и оба они замолчали — Крылов читал докумет, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

— Та-ак, сказал наконец Крылов. — А за что отбывал?

— За что сидел? — будто не расслышал хозяин. — За испуг воробьев на казенной крыше…

Я чуть не прыснул, здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну, всё!» — и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприят-но хрустят колени хозяина, проходившего в чулан…

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами, — мой взвод получил два ручных пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш пупок в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР — на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

— Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он.

— Маленький такой, — сказал я.

— А мне плевать, большой он или маленький! — покраснел Калач. — Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!…

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове.

— Все ясно, — сказал он. — Сознательный малый. Один на весь взвод оказался… Валенки — тоже его работа! Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны… Как ты думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

— Конечно, доверим, — сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая, как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

— Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут…— сказала Маринка.

— А куда? — спросил я.

— К амбару.

— Я на один час только.

— А мы бегом.

— Ну давай, — сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького. Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

— Что ты делаешь?

— Сядем, — сказал я. — Ты не бойся… Я же обещал… Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца — как у голубя.

— Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

— В чем? — спросила она.

— В том, какая ты у меня… В нашей с тобой любви.

— Непутевая она у нас… Если б не война!…

— Тогда бы я не встретил тебя.

— А я и без тебя встретила б!

— Кого?

— Как кого? Тебя. Ты где жил?

— В Обояни.

— Ну и приехала б!… А там у вас одеколон делают?

— Кирпичи, — сказал я.

— Обоя-ань… Расскажи мне о себе. Всё-всё!

Я рассказал всё-всё и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни; в 1937 году маму уволили, а меня исключили из комсомола. За что? У нас было несколько томов «Отечественной войны 1812 года», и мы с матерью знали всех генералов от Барклая-де-Толли до Тучкова-третьего. Ну, вот за этот интерес к русским генералам… А в Обояни я вступил в комсомол снова. Скрыл прошлое — и вступил!

— Приняли? спросила Маринка.

— Кто? — не понял я. — Те, что исключали?

— Да нет, вообще.

— Приняли. — И я ругнулся, так, чтоб отвести душу.

— Не ругайся, — попросила Маринка. — Ты очень любишь ругаться. Прямо как мой отец. Он тоже часто выражался…

— А где он? — спросил я.

— На фронте… Два месяца нету писем… Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

— Ты чего замолчал? — спросила Маринка.

— Думал, — сказал я.

— О чем?

— О себе… И о тебе тоже… Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно! Давай поженимся…

То, что я сказал — поженимся, отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще благост-ным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка тоже ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

— Поженимся! — опять сказал я.

— Что ты выдумываешь, — произнесла наконец Маринка. — Где же мы… Война же кругом!

— Черт с нею! — сказал я. — Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?

— Что ты выду-умываешь!…

— Завтра поженимся, в день моего рождения…

— Господи! Что ты говоришь? — воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи». — У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?

— Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?

— Не-ет, я и не думала… А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал, сколько?

— Пятьдесят шесть, — сказал я.

— Что ты! Маме и то сорок пять только!…

— Дурочка ты!…

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь — чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна», — немцы ведь подходили к Москве, но всё равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

— Как дела? — спросил я его.

— Все в порядке, — ответил он. — А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и на колючей основе проволоки мерцали блестки легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно безобидным, нарядным, кружевным.

— Послушай, Коля… Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь, — бессвязно и благодарно сказал я Васюкову. Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом:

— Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!…

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь — да и то со стороны — вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слыхал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый приветственно-напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появ-лялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя…

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом в фюзеля-же. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно-вибрирующий гул моторов.

— Разведчик ихний, — не глядя на меня, сказал Васюков. — Разрешите мне из ПТР… Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» — мы были теперь на «вы», — и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться — самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

— Кладите ствол на меня! — приказал я и уперся руками в стенку окопа. Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой, наверно, так чувствуешь себя после удара колом.

— Ну, что? — крикнул я.

— Не берет сразу, — отозвался Васюков. — Станьте-ка повыше…

Я стал, а он, повозясь и покряхтев сзади меня, снова ударил.

— Ну, — крикнул я.

— Не берет, гад! Станьте пониже…

— Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья, — Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несуразное:

— Ага-а, располупереэтак твою…

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал, как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить…

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

— Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

— За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно:— Служу… служу Советскому Союзу…

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодар-ность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

— Ты чего? Обиделся за вчерашнее? — спросил я. — Нашел тоже время… сводить личные счеты!

— Да нет, — сказал он и высморкался в полу шинели. — Это я так… Подперло что-то под дыхало… Сам посуди: летают как дома… Почти половину России захватили, а мы…

— Да ты же подбил его, чудак! — сказал я.

— Конечно подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!… Выпить бы сейчас, а?

— Ты… извини, пожалуйста, за вчерашнее, — попросил я. — Ладно?

— Ладно, за тобой останется… На свадьбу только позови, — полушутя, полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось на изволок, и почти на горизонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило — даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении — и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши, — не утерпел человек.

— Полный порядок! — доложил. — Есть кусок сала и полная писанка… А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

— Не знаю, — сказал я.

— Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

— Один раз.

— И как она к тебе?

— Так себе…

— Не понравился, выходит?

— Война. Сам понимаешь…

— То-то и оно! И не крути-ка ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская… И честная, видать…

— Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я.

— Ну, ты.

— Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

— Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

— Хочется. Но надо подождать до вечера.

— Тогда отнеси все туда. А то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду, — думал я, — положу все на стол и скажу: вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок… на день рождения вашей дочери… Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое…»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

— Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

— Где? — испугался я.

— В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже…

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки — велики были, и когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

— Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли! — крикнула она Кольке.

— Я не залез, это он сам, — ответил Колька. Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

— Позвать Маринку? — сочувственно посмотрел на меня Колька.

— А мать не заругается? спросил я.

— Что ты! Она уже ругалась. За петуха…

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее невообразимую, с громадными черными косами, с свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

— Принес вот кой-чего…

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

— Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером… И не говори ничего маме… Потом я скажу ей про всё сама…

— Я очень не нравлюсь ей? — спросил я.

— Она же не зна-ает, какой ты…

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

— Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!

Этот день и угас ярко, — солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле.

— Они всегда это чувствуют, — сказал он. — А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьет…

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

— Ну, что ты слушаешь? Там фронт, — сказал я.

— Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков.

— А что же?

— Черт его знает. Может, просто немцы одни…

— Не распространяй в тылу панику, — сказал я. — Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие, белёсые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так… обманывать девку на глазах у матери!…

Что можно было ему ответить?

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навытяжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте» — и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

— Извините… тут вот наши бойцы прислали вам… на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

— Что ж, спасибо им… Садитесь, гостем будете.

— Раздевайтесь, пожалуйста, — предложила Маринка.

— Холодно же у нас, — сказала мать.

Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок, — наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил — никому не нужное тут, — и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

— Извините, — сказал я, — вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю… Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

— Маленький? Не знаю, — оробев, ответила она.

— Это, наверно, Устиночкин Емельян, — обрадованно сказала Маринка. — Он недавно только вернулся.

— У него еще дочь некрасивая такая… Вроде она плачет все время, — напомнил я.

— Это Мотька, — засмеялась Маринка. — А отец ее сидел за Северный полюс… Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм. А Емельян на взводе был… Встал да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали…

Я мысленно увидел Емельяна на собрании, он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке, — вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело, мать, и когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян, и Маринка ответила: «В заячьей», я уже не мог стоять и повалился на скамейку…

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

— Родители-то хоть есть у вас? — спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

— Давайте, — начал я не своим голосом, — выпьем за…

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой — «Не говори!» — и в это время мать сказала:

— За то, чтобы все вы живы остались…

У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

— С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

— Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок «Молчи, молчи, молчи», но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

— Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю…

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

— Мам, а он тоже Воронов, — сказала Маринка.

— Теперь, дочка, все вороны… все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету! — назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать», — думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты.

Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

— Чтоб недолго! — приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:

— Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный гул, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

— Ну чего ты плачешь? Дурочка, ворониха моя…

— Я же… У меня же ключи от амбара, — напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос. Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки…

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертвенно-зеленые звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

— Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность…

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

— Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад, — для меня все мины попадали в Маринкину хату, — и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

— Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе… И вообще, мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону поля слепяще сиял снег, — солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

— Оттуда бьют, — раздумчиво сказал Васюков. — Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье не гаубица, но мы же были пехота!

— Давай садани, — сказал я, и, когда он с Крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза махнул Васюкову рукой хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел, и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов, — падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень — в момент затишья — на наш пупок прибыли майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

— Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки… Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

— Так точно, товарищ майор! — ответил я и спросил: — Один пойду?

— То есть как это один? — сердито сказал Калач. — Пойдете с двумя отделениями!

— Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл:

— Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!…

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

— Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

— Есть добровольцы? — снова пропел Лапин. Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ, и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид — вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук, — видно, с ними боролось за что-то сердце, — и тогда Калач спросил:

— Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков, — на этот раз майор не остановил его, — за ним готовно, разом, вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова, — я как будто видел в нем все то, зачем мы должны идти сейчас туда, на запад… Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос Калача:

— Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте!

Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР…

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все «личные вещи». Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

— Ну, все, — негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. — Не забыли, где минный проход? Ну, все!…

Мы пошли гуськом — впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои, — действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

— Как будем действовать, короткими перебежками или…

Он не докончил вопрос, — высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все, — это ведь получалось невольно, — и вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку… Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной рассредоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег, — ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!… Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

— Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

— Ну? Что там?… Ну, говори!

— Да там… ничего уже не видно…

— Унесли?

Ему надо было — я хотел этого — прикрикнуть на меня: «Что унесли?» или «Кого унесли?» или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

— Да там… всё уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал «бегом», и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное — и не только мое, личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт» и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно, — мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина, — даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась — мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие, серые люди.

— Ну, как будем? Перебежками или так? — не спросил, а прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом, — нельзя же нам больше оставаться тут одним!… Но я увидел лишь свои следы на снегу — четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Два из них — левофланговые — почти соприкасались и кое-где перебивались: это мы так шли с Васюковым.

— Как будем, говорю? — снова прокричал он мне в ухо. Чудак, разве я знал, как нам быть! Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз… Если бы до Немирова оставалось немного подальше… Если бы это было ночью, а не днем… Если бы они хоть начали скорей стрелять!…

— Бег-гом! — скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег, и я знал, для чего это делалось — чтобы быть пониже.

Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, не виданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трёх офицеров, стоящих впереди остальных: они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо — на своих, раз вперед на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет он нес, как кол. Справа с запасными дисками к РПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими, черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, — крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял…

Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, своя теснота была единственной нашей защитой и поддержкой.

— Сереж! Не надо дальше… Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу… Все дочиста! Сереж!…

Это кричал мне Перемот, занося поперед моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдистыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклинающий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин; эта наша братская сутолочь и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать: «Ложись». Мы рухнули, как бежали — кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирова и бредово заговорил:

— Вот тут, за сараем, ихние минометы… Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких…

— Полковые и батальонные, — раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков.

— Во-во! — подхватил Перемот. — А вон там, под ракитами, танки… Кажись, девять.

— Семь, — торопливо сказал Васюков.

— Пушек вроде не видно, — самозабвенно, на одной ноте твердил Перемот, — стало быть, это пехота. Числом тыщи полторы, а может, чуть побольше…

— Полк, — сказал я Васюкову, и он кивнул. Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени, — мы разговаривали на крике, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому — как убегают от смерти двадцатилетние, а пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого!… Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и не много — трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача, — иначе он ничему не поверит…

Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним — я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услыхал своих пистолетных выстрелов: их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорей уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в пяти позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый, буро-огненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике…

Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз, — на правый сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все — от парящей Маринки до убегающего Перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Тогда я перевалился на спину, и мне открылось и явилось все сразу — боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену и лежу в немировском сарае…

Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых, узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверно, Васюков просадил тогда из противотан-кового ружья. Высоко брал!… Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже…

Мне нельзя было ни о чем думать, — тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам…

Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился: даже если это и не на самом деле Васюков — все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь…

А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога — рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них, — они посинели и померкли, — перевел взгляд и опять увидел Васюкова. Как и до этого. Он сидел и что-то грыз. Раскачивался и хряпал.

— Коль, — позвал я. Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольни-ков. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Васюков! Живой Васюков… Он примостил-ся слева от меня и молча поправил на мне шапку.

— Всех? — спросил я.

— Лежи, — сказал Васюков. — Кроме нас да Перемота — никого. Сволочи, бросили…

— А где Перемот?

— Остался там. Да он и не пикнул.

Я подумал, что все вышло так, как я хотел: троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только? Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли?

— Куда тебе попало? — спросил я. Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил:

— Меня в спину?

— Наискось… А под мышкой выскочил.

— Осколок?

— А то хрен, что ли!

— Большой?

— Фатает! — сказал Васюков и выругался в пра-христа. — Ну что будем делать, а? Если б ты мог бечь! Кура пошла, фрицы все по хатам сидят…

— Давай сматывайся один, — сказал я. — Мне все равно хана.

Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз:

— Да там и рана-то с гулькин нос. Дня через три присохнет, и все!

Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это было то, что я всем телом хотел от него услышать. Конечно ж она с гулькин нос и через три дня присохнет. Присохнет, и все…

…От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы растрепаны и повернуты головками в одну сторону — к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил: «Может, пить охота?» — и пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой, серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал:

— Главное ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит — всё! Ты не рассолаживайся.

Я не рассолаживался. Я не чувствовал никакой боли и только мерз. Васюков захватил беремя соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант, и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы, я ждал, что он скажет останусь жив или… Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил, как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолечу:

— Ну?!

— Как молоток, — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо.

В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о Мытищах и обо всем, что потом было.

— Ты видел их? Вблизи? — спросил я Васюкова про немцев.

— Полк, — сказал он. Всё точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем, стоят… Надо было драпать тогда, и всё. А теперь вот…

Он снова ругнулся в прахриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, и я попытал опять:

— Ты видел их? Какие они?

Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам:

— Не знаешь, что по-ихнему петролеум означает?

— Кажется, керосин, — сказал я. — А что?

— Писанку, понимаешь, отобрали. Допрашивали, что в ей такое…

— А ты что?

— Самодельная водка, мол.— Ну?

— Да ничего. Пить заставили… А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум» — и ударил пустой писанкой… Да мне и не больно было, — сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:

— Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул… Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча.

Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.

Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко, не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, соображал, наверно, потом сказал:

— Да на вид они как мы. Одежа только не наша… Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все…

Когда ты не знаешь, о чем надо думать, заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери Лапин или капитан Мишенин, лучше б Мишенин, потому что письмо у него получается длинней, и мать не сразу начнет плакать, когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опас-ным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз и взорвешься миной.

— Ты не спишь? — хриплым полушепотом спросил Васюков. В наступление, наверно, пошли. Чуешь?

За стенами сарая ревели немецкие танки.

— Может, забудут про нас, а?

Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углублять-ся-вдавливаться в солому. В ней внизу непугано и занято шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, — может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад, — это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они — вдвоем, видать — лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.

— Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!

Говорил один, а второй чему-то смеялся — негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы, я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, — сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом — о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!… Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Курщине году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомага дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника, — еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн», и я позвал Васюкова. Он легко справил-ся с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треуголь-ник. Мой кубарь немец поместил правильно, — между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго…

Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн»— и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.

— Вильст раухен?

Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» — и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубые коробки и три чужие руки, — глаза заплакали сами без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, — разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что нельзя закуривать, но коренас-тый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» — и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонят-ный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным, красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.

— Он, наверно, требует мою сигарету, — сказал я. — Отдай скорей!

— Вот же ж падла! — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе…

Они ушли и заперли ворота на засов.

Мы остались вдвоем.

На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки, по одному галуну на каждом рукаве…

Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.

— Как вата, — сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх.

Я промолчал.

— Тебе ж все равно нельзя было, — проговорил он.

— Ладно, — сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирове тоже было тихо.

— Могут и не перейти, — немного сгодя сказал Васюков. — Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть…

Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и… мало ли!

— Понятно, что вмерзли! — сказал Васюков. Он опять цыкнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.

— Слушай, Сергей, — заговорил он и оглянулся на веялки. Я вот чего не пойму… Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с поллитрами… Ну ты сам все знаешь!

Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:

— Про что это я знаю?

Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.

— Да я ж одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. — Что ж тут такого…

— Вот и помалкивай! — сказал я.

Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и всё. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюко-вым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми… и вообще тогда все будет с нами быстрей и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое — и всё!

Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:

— Махал я их! Слышишь? Махал!

— Кого это? — спросил я.

— Ты знаешь. Особистов твоих!… Вот теперь взять нас… Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?

— Боем. Огневые точки врага, — сказал я.

— Ты не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. — Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам — кисло было или как?

Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.

— Не подымай фост! — ответил Васюков. — Что, с самолета нельзя разведать, да?

— А если его нету? — спросил я.

— Куда ж он делся?

— А его и не было!

— Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? — фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:

— Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот всё гибнет!

— Ну это ты не свисти! — угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно и мне нужно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же:

— Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!

Он так и не придвинулся ко мне и, когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал:

— Из ПТР тоже можно затокарить будь здоров! Ссадил же я «раму»? Ссадил или нет? Чего молчишь?

— Ну, ссадил, — сказал я. — Ты же с моего плеча бил.

— Конечно, с твоего!… Капитан обещал к ордену представить.

— Потом получишь, — примирительно сказал я.

— Вместе получим, — заявил Васюков. — И носить будем поровну, неделю я, а неделю ты.

— Ладно, — сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками.

В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил: «Раус». Немец не видел нас, и когда мы зашевели-лись, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота.

— Раус! Лёс!

Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера, — что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы.

— Чего он, Сереж? А?

Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом.

— Это он так, Коль! Так зачем-нибудь! — сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и незлобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длинней верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвертс». Мы пошли вдоль стены сарая к гряде не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие, крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать Перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирова, снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину.

— Ты б поохал! — шепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй.

— Погромче не можешь? — изнуренно спросил Васюков, и я заохал громче, а он еще ниже склонился и понес меня вихляючись, как мешок с солью.

В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки…

— Надо было туда. Туда! Надо было туда!…

Мы стояли вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюко-ву, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало — «нас везут полем!» — и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке боем, немцам и самому себе!… Машину кидало и подбрасывало, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно, — «надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо…». Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновре-менно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что маши-на резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог.

— На сашу\* выехали, Сереж! Чуешь! На сашу! — сказал он так, будто мы были там, у себя.

\* Ударение на второй слог — прим. OCRщика.

— Ага, Коль! По саше едем! По саше! — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу, — так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану, — может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам.

— Это рубаха отлипла, — сказал он. — Давай обопрись на меня.

Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней, — у Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверно, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про сашу, и я повторил за ним его фразу…

Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же «немировским» приемом держал винтовку и таким же «сарайным» голосом сказал: «Раус». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная, белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки.

— Сереж! Уже всё! Иди скорей!

Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал, раненого оставят в машине, а здорового поведут одного, — и толкнул его сапогом в грудь.

— Чего ты?! Иди скорей! Ну? — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно — всё вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю.

— Всё теперь! Уже всё! — сказал он клекотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел совсем рядом — обындевевшую проволочную стену и зыбуче-миражные, потому что шел снег, — сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой, радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа наших, — я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул:

— Коль! Наши! Видишь?

Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвертс». За машиной у проволочной стены стояла невидимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам, — он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев, — тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз…

— Братцы! Может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?

Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал:

— Это Ржев, товарищ лейтенант! Ржев!…

В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся валообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев: тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных галунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то ссыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль.

— Товарищ лейтенант!

Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно.

— Не надо, товарищ лейтенант!

У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засушь, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши «клунь» вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтоб он оттаял. Васюков подступил к крайне-фланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомо-го, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего.

— Братики! Не давайте ему! Заступитесь, братики! — непутево заголосил он и лягнул Васюко-ва ногой, запеленутой в брезентовый лоскут. В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы, — много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверно, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать:

— Граждане, не знаете, что там такое, а?

Ему никто не ответил, — не знали, может, о чем он, — и Васюков пожаловался всем сразу:

— У меня командира ранило!

В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно-тонким голосом попытал, куда переехала из Кремля партия и правительство — в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверно, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, и я подогнул колени.

— В гроб мать! В сараях, говорю, что? — на крике спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили:

— А то не сараи. То склады «Заготзерно».

— А теперь что там?

— Раненые да тифозники… Там, брат, жи-изня! Там крыша и нары небось! — распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине, — обындевела. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки.

— Всё. Там, вишь, нары. Ты не рассолаживайся.

— Да я не рассолаживаюсь, — сказал я. — Полежу тут, и все пройдет. Ладно?

— В складе лучше пройдет. Там нары и крыша… Давай руки! — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально-раздерганная поленница, отсвечивающая иссиня-белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова, — от них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я.

— Там мертвецы лежат! Голые! — сказал я под свои пинки ему в зад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая:

— Сиди! Сиди!

У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими, белыми глазами, и он прокричал большим, белым ртом:

— Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!

Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал, — голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью.

— Смочи горло! — крикнул он. — Слышишь?

Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крике в ухо, но я слышал всё — темный безъязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца — «как молоток!» — слышал шепотную, про себя, на меня, матер-щину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его за шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой, бугристой наледью. Через пазы створок наружу высовывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбигно-плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворога ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым.

— Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!…

Я лежал и глядел в небо. Оно всё сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня и оказалось нашей Обоянью, только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему…

Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил:

— Второй не успел сорвать, да?

Он спросил, злобно оскалив зубы, и я догадался, о чем он — о моем оставшемся кубаре.

— Сволочи! Как чуть что — амуницию в канаву и под ополченца!

— Дура еловая! Не видишь, что человек ранен? — мирно сказал ему Васюков. — Давай подмогни стучать!

— Тимоха так тебя стукнет, что костей не соберешь! — мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом, — тут была неветреная сторона.

— Давай руки, — сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом — пожилой, видно, был:

— Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали. А то, вишь, оно как получается…

Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно, — наверно, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном.

— Говорю, Тимоха кем тут у вас, а?

Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услыхал, что ответили пленные Васюкову…

Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, по тому, как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел-полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам… Может, убежал уже! Мои руки были засунуты в карманы шинели, Васюков, конечно, засунул, навсегда, перед своим уходом, и я потянул их, чтобы пощупать пульс, — сам же говорил, что он у меня как молоток, а рана с гулькин нос! Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки, — на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки, — это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам…

Пульс бился. На обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал: ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у поленницы.

Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из поленницы — и все почему-то вверх в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженые обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат…

Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки: над предворотней будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот в глубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленницы попятилась назад, споткнулась и заржала — трубно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных…

Это продолжалось долго — смятенная поваль, крики и стоны, — а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий, розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку.

— Тимоху искал, — рыдающе сказал он. А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем… совсем теплая.

Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотней будкой уже не было, и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал:

Ува— ува-ува-ва!

Ува— ва! Ува-ва!

Мне было жарко и хотелось пить.

От поленницы несся колокольный звон.

Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечом к плечу, и у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по немировскому полю — красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья — там же минное поле! — стоял и ждал нас по команде «смирно» капитан Мишенин, и я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу — о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленнице…1962

Рассказы

Во гробе сущий

Огромный, выкрашенный в грязно-желтый колер коммунальный дом. В доме нет квартир — только жилплощадь. Лестницы дома загажены отбросами еды и окурками, на ступеньках щетинятся голодные и злые кошки, а на площадках пластается густой чад прокисших щей.

Ночами лестницы дома погружены в плотный мрак. Тогда коты в тягучем призыве леденят кровь в жилах слабонервных:

Ма-а-авврр-рра!

Абррр-рр-а-аам! -отзываются кошки, и снова тихо, тоскливо и отчего-то жутко.

Спит желтый дом. Лишь кое-где в непромытых окнах тускло горит огонь значит, там больной младенец или с сухими глазами и скорбно сжатым ртом ждет жена мужа из бара. Но к двум часам ночи свет гаснет всюду. Только в одном окне он горит всю ночь напролет. Там живет писатель…

…Тесная комната заставлена разнокалиберной мебелью, пыльным, когда-то бархатным диваном, который писатель называет почему-то «софкой», таким же креслом, названным им «фотелем», и еще разной рухлядью от десяти до сорока трех рублей за штуку. Но в углу, у самого окна, стоит свежеотполированный большой и уютный письменный стол, заваленный книгами классиков и рукописями самого писателя. Писатель бледен, высок ростом, с большим лбом и лихорадочным огнем в грустных усталых глазах. Всё в нем неспокойно и угловато. Только мочки ушей по-женски мягко округлены, и только они внимательному человеку могут дать повод к мысли о том, что этот тридцатилетний человек умел когда-то заразительно и ласково смеяться…

Тихо. В соседней комнате в жалобной и тихой позе спит жена писателя — студентка педагоги-ческого института. В щель неплотно прикрытой двери от настольной лампы писателя на кровать падает узкая полоска света. Она падает и освещает правую руку спящей. Писатель видит выпачка-нные в чернилах пальцы жены, вспоминает, как морщила она лоб над конспектом по диалектичес-кому материализму, вздыхает и прикрывает плотнее дверь в спальню. Потом долго сидит, уставясь в стену, и вдруг зябко и испуганно вздрагивает.

— Ма-а-аввр-р-раа! — почти по-человечьи взмяукивает кот на лестнице, и писатель выбегает в кухню, придушенно кричит:

— Брысь, чертова сволочь! Брысь, пас-скудина!!

В холодной кухне — вода замерзает в чайнике за ночь — писатель нервно выкуривает дешевую сигарету, запивает ее стаканом ледяной воды из-под крана и идет к столу. И снова долго сидит молча и зловеще, потом начинает быстро писать:

«Вильно — старинный город. Улицы его тесны и извилисты, и пролегли они средь дружной и согласной рати приземистых плотных домов. Мало площадей в этом старом городе. А единствен-ная „Лукишки“, как и пятьсот лет тому назад, остается поросшей придорожником, пыреем и еще какой-то несказанной литовской травой. Здесь будет, очевидно, отстроен памятник Ленину, и тогда площадь засеют незабудками…

На западной окраине этой площади шприцем проколол небо красномакушечный костел. Каждый день по утрам и вечерам в костеле коленопреклоняются молящиеся, слышатся печальные стоны органа и хор певчих, и в открытую дверь храма далеко видна горящая свеча у образа Спасителя. Свеча мерцает трепетно и прерывисто, и издали она напоминает дрожащую каплю яркой крови, готовую упасть к ногам Христа.

То свободно и широко, то печально и проникновенно звучит орган под сводами древнего костела, рассказывая богомольцам волнующую правду о ком-то, призывая их к добру и истине. А капля крови дрожит и дрожит на отрыве, плавясь и ненадолго застывая…»

Все это пишется вдруг, «не переводя дыхания», как любит говорить сам писатель. И ему нравится написанное — вложена ведь капля крови собственного сердца! На втором разе он брезгливо кривит губы, а после третьего прочтения отбрасывает лист бумаги в сторону, встает со стула.

— Это же эмигрантщина! Они так писали, черт бы их драл, обездоленных! А я — бездарная погань! Ну что это? Что?! Отчего герои этого самого… как его? Бабаевского… отчего они такие… довольные и ими довольны? К черту! Брошу все! Это не то, не то-о!

А кто— то второй в писателе, дальний и тайный, кого он любит и боится одновременно, гордый, упрямый и смелый тусклый прообраз самого писателя, — страстно и гневно возражает:

Нет, это то! Ты — трус… Ты из породы тех современных, кто в безлюдных и темных переулках носит кукиш врагу в кармане! О каких героях грустишь ты? Где эти герои и все довольные ими? Укажи мне их, я на них плюну! Ты должен писать то, что начал. Я помогу. Мы создадим живых и недовольных!…

Двойник близко подходит к писателю и пальцами худых и твердых рук цепко забирает нервную ладонь писателя.

— Погаси свет, — приказывает он.

Писатель молча и покорно открывает ящик стола и достает свечку. Засветив ее и погасив электричество, сидят они вдвоем в полумраке, до капли внешне похожие друг на друга, молчаливые и внутренне будто смиренные. Двойник оглядывает стол писателя и кивает на фотографию «Толстой на пашне», вделанную в письменный прибор.

— Пашет великан?

— Пашет старик, — с кротким вздохом подтверждает писатель и повторяет с тоской и призывом: — Па-ашет!

И двойник угадывает мысль писателя:

— Всё великое и даже мало-мальски значительное в литературе было создано в протесте… в оппозиции к тому духу времени, в котором оно создавалось…

— Ну, положим, не всё, — пробует неуверенно возражать писатель, и двойник вскидывается:

Хочешь примеры из русской литературы? Изволь: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Щедрин, Шевченко, Толстой, Надсон, Есенин и половина Горького!

— Отчего же «половина»?

— Во вторую половину своей жизни, в полосу «приятия», Горький ничего не мог создать! — Двойник наклоняется к писателю: — Фаддея Булгарина, надеюсь, знаешь?

— К чему ты мне говоришь это? — тоскует писатель.

— Ну не для того, чтобы искусственно создать бугор «желания славы» в твоем черепе! Я хочу, чтобы понял правду земли: толпа и гений несовместимы, как добро и зло. Только люди творческой мысли и светлой и гордой души способны возвышаться над обществом своего времени и видеть и осуждать его пороки. Посредственность никогда не выходит из «круга приличий», и рык осатане-лой твари «нраву моему не препятствуй!» всегда приемлет за откровение и милость Божью! Писатель, павший до восхваления модной лжи и порока, обречен на презрение и проклятье его потом-ками… Какие это избитые истины! Но истину народ обретает не вдруг. За нее он всегда платился и платится лучшим цветом своим, самой пылкой и непорочной мечтою! Сто лет тому назад эти истины бытовали на русской земле в творениях литературы. Теперь духовно оскопленным в университетах только издали показывают эти истины, осторожно вынимая их из затхлого сундука истории нашей. Показывают опасливо и ревниво под надежной и незримой охраной автоматчиков и на фоне карты Сибири! Истины эти будто изжили себя у нас на Руси, но дороги как приятные воспоминания о больших и смелых людях. И для обезвреживания эти истины густо пересыпаются вонючей пылью слов политического нафталина! О, какая гнусная ложь! Произнесшем эту истину сейчас как истину… ты знаешь, как поступают с такими? Сотни тысяч отрубленных голов! Миллионы!! И вот, растленный и обезглавленный, притих мой народ, а булгарины и эти современ-ные опричники литературы, мерзопакостники и стяжатели «премий» — этих ивано-грозненских вотчин! — все стряпают и стряпают на общей кухне партийной секты ядовитую словесную похлебку для народа. Одна приправа у этих блюд, один цвет — цвет дряни из гангренозной раны; один запах — запах гниющих собачьих голов за спинами опричников; один привкус — привкус белены, растущей на навозе! О, как же мучительно хочется связать воедино всех этих «кавалеров золотых звезд», «троих в серых шинелях», «иванов ивановичей» и прочее и прочее, и с «первой радостью» — радостью хозяйки, очистившей свою хату от мусора, — по «поднятой целине» русской земли оттащить их «далеко от Москвы» и утопить в самом глубоком и темном месте океана!…

Но как постыдны и отвратительны те из булгариных, те из поваров, кто неумело еще стряпает свою словесную похлебку, кто по неопытности заправляет ее недостаточной дозой отравы. На пробе в дегустаторских камерах цензуры эта похлебка бракуется, и ее с оскорбительным окриком парторги возвращают незадачливому повару, выплескивая прямо в покрасневшую от стыда морду его дескать, жри сам! Такие — до физической ощутимости напоминаю! мне отвергнутых пьяным хамом проституток, хоть и подряжались-то за рупь! О, гнусные гады!!

И вот, милостивый государь, — какое чудесное русское обращение, рожденное добром и благородством! — и вот, я спрашиваю: чем же ты лучше последней категории поваров-опрични-ков, булгариных-стряпух? Не удалась ведь похлебка, а? Хлестнули прямо в морду тебе ее, в переносицу!! У-у, пас-скуда несчастная, слепой выблядок трахомного времени! Как же ты не видишь происходящего? И как ты находишь дозволенным для себя глядеть на Толстого и скулить в тоске по сторублевке — «па-а-шет»! Ты смеешь называть его «стариком» и идти с ним запанибрата? Это с полубогом-то, кто перед сонмом жандармов гремел миру «Не могу молчать»?

И двойник, сжав челюсти до скрипа зубов, раз и два больно бьет писателя по щекам, а откинувшись, гневно и с омерзением плюет ему в глаза.

Писатель хватается руками за лицо и чувствует, как краска нестерпимого стыда заливает его бледные щеки и лоб.

— Не надо так… Не надо… О Боже мой! — шепчет он и вдруг тяжело роняет голову на стол, и безудержное рыдание начинает бить его тело.

Плачет он долго и тяжело, а двойник сидит рядом и ждет. Наконец он мягко кладет руку на голову писателя и начинает гладить ее тихо и нежно.

— Перестань, — участливо произносит он, — перестань, друг. Где твоя повесть — этот унизительный позор твоей жизни? Подпалим свечкой — и все! Пусть сгинет мерзкий плод твоего минутного падения, отвратный ублюдок лживой мысли. Книги, большие волнующие полотна — пишутся только кровью сердца, а от созданного тобой, разве не чувствуешь, как несет ядовитым духом заразы?

— Да, это так! — твердо соглашается писатель.

— Это так! — вторит ему двойник и, сощурив глаза, пронизывая ими писателя, раздельно и властно приказывает: — Тогда пиши клятву-эпиграф к своей большой и честной книге. Пиши:

Обруганное страшной матерщиной,

Подло застигнутое нагим и девственным, —

Мерзко ученое покупать и продаваться.

Сердце мое, человечье, измученное!

Поклянемся на этом вместе мы:

Да будешь ты мною казни предано

За попытку солгать или струсить!

Писатель порывисто закуривает, хватает карандаш и записывает эпиграф. Потом минуту сидит притихший, и злорадная усмешка блуждает на его чувственных, но бескровных губах. Вдруг он размашисто выводит под эпиграфом:

«БЕССМЕРТИЕ»

Роман

Книга первая

Двойник же неслышно встает, запахивает полы черного пальто, глубоко на глаза надвигает шляпу и, до жути одинокий в этой ночи, медленно уходит в предрассветный мир.1949

Немец в валенках

Тогда в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте — близ проволочных изгородей — проклевывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, — кого-то выиски-вал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.

Мы — сорок шесть пленных штрафников — сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, — эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову и кого и для чего он тут ищет! Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят… Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов, — он был доходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки, — окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее, меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.

Я уложил Ивана и полез с нар. Там и пространства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановил-ся слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул — выругался, наверно, — и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженны-ми пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, — мы знали, что охран-ники и конвоиры особенно усердно били доходят, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонал.

— Шмерцт нихт?\* — спросил немец и посмотрел на меня странно: в голубых глазах его, опушенных белесыми ресницами, было неверие, удивление и растерянность. — Ду люгст, менш!\*\* — сказал он. Я понял, о чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, — я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого — если ты в плену и тебе двадцать два года — главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и чем закончится, и я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, о чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддержи-вая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез рукой в правый карман брюк. Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился, — начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и. когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, и я побарахтался сам с собой и сел на край нар. В бараке было очень тихо и холодно. Наверно, Воронов видел, как я подходил к немцу, и теперь сам двигался к нам тем же приемом будто плыл. Он глядел мне в лоб, — может, ориентир наметил, чтоб не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешанно-блестящие. Немец не замечал Воронова, пробуя склеить сигарету, — я поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел, табаня то правой, то левой рукой. Я не знал, что замыслил мой друг доходяга. Управившись с сигаретой, немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукой, как кот лапой, — перед своим носом, а затем уже крикнул:

\* Не болит? (нем.)\*\* Ты лжешь, человек! (нем.)

— Цурюк!

— Иди назад! — сказал я Ивану.

— А… ты? — за два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами.

— Я тоже приду, — сказал я.

— А он? Чего он?

— Форт! — крикнул немец и махнул рукой перед своим носом.

— Иди к себе! Скорей! — сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала, — наверно, камушек истерся или бензин иссяк, и он все клацал и клацал, не упуская из вида Ивана, — опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по-собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким — на исходе — голосом сказал: — Хрен тебе… в сумку.

— Вас вюншт дизер феррюктер?\* — спросил немец. Возможно, он произнес не эти слова, — я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свой кадык:

— Он просит пить.

Немец наморщил лоб, глядя на мой рот, и понял:

— Вассер?\*\*

— Да, — сказал я.

— Бекомт ир денн кайн вассер?\*\*\*

— Нет, — понял я.

— Шайзе! — негромко и мрачно выругался немец, а Иван попросил меня рвущимся подголоском:

— Саш, скажи ему… хрен, мол, в сумку!

\* Чего хочет этот сумасшедший? (нем.)\*\* Вода? (нем.)

\*\*\* Вы не получаете воды? (нем.)

Он сулил ему не хрен, а совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой, я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась, потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на ней надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умалилась до половины, а я подумал, что Ивану хватит «тридцати», и затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было — осел там, во мне. Барак, нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаляясь, прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта:

— Саш! Двадцать… Ладно?

— Ецт вилл эр раухен?\*— спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удивленно выругался. Я решил, что проход в нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага! — надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговой темп и меня не уведет в сторону. Воронов ожидал меня не меняя позы, только растопырил указательный и средний пальцы правой руки — приготовился. Я вложил между ними окурок и подождал. Иван затянулся и зажмурился, — поплыл, наверно, вместе с бараком, и тогда я оглянулся на немца. Он некоторое время смотрел то на мой лоб, то на ноги, потом позвал, но не пальцем, как раньше, а в голос.

— Алле зинд да флюхтлинге?\*\* Ком-ком? — спросил он и посеменил по доскам нар короткими пальцами, поросшими медным ворсом.

— Все, — сказал я и сел на свое прежнее место. — Только не в одно время и из разных лагерей.

Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, наверно, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, а ступни обжать ладонями, чтобы затушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул.

— Шмерцен? — спросил немец.

— Ну болят, болят! — со злостью сказал я. — Тебе от этого легче, да?

Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него.

— Теперь тебе легче, да? — спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках, не опуская ног, и сказал торопясь:

— Их бин бауэр, ферштеест? Ба-у-эр. Унд ду?\*\*\*

\* Он хочет курить? (нем.)

\*\* Все здесь бежавшие? (нем.)

\*\*\* Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? (нем.)

Из военного словаря мне было известно, что такое «бауэр». Ну конечно! Он должен быть этим бауэром, и никем другим. Они дуют пиво — «нох айн маль»\*, — жрут желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой!… Я не знал, что он задумал по теплыни, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос.

— Их бин ба-у-эр! — как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец. — Унд ду?

Может, потому, что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком.

— Шумахер? — догадался немец.

Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал, — моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина: пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица. Оно было тяжелым и напряженным.

— На, аллес, — сказал он. — Цайт цу геен!\*\*

\* Еще раз (нем.).

\*\* Ну все, пора идти! (нем.)

Пленному полагалось двигаться впереди конвоира шагах в шести. Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать, — не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь. Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если несся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и примерно в двадцати, если кидался в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определяла залагер-ную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и не бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести, и ясно, почему беглец выбирал правую сторону, если не считать, что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком…

Я так и пошел к выходу, — впереди немца, но он сказал: «Момент», и я задержался, а огляды-ваться не стал, чтобы не видеть глаза Ивана. Немец поравнялся со мной, и мы пошли рядом, — я табаня то правой, то левой рукой, а он врозваль, морщась и глядя на мои ноги. У дверей в цемент-ном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропой доходяг. Мы там споткнулись одновременно, и немец выругался резко и коротко, а я длинно и, наверно, заклинаю-ще, потому что он притих и прислушался. Мне нужно было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распрямились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых.

— Что ты там бормочешь? — подозрительно, вполголоса спросил немец. — После этого не болят, да?

Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было не к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болезненно, и, наверно, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе оглядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего я не понял.

— Их хайсе Вилли Броде, — сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь. — Унд ви ист дайн наме?\*

\* Меня зовут Вилли Броде. А тебя? (нем.)

Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и не торопясь, врозваль ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спросил:

— Чего он хотел, а?

— Не знаю, — сказал я. — Может, вернется.

— Хрен ему… В сумку.

Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь день и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступать колдобину и встал у дверей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьим приемом — спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нар загородил меня от немца. Он и загородил, но немец в это время по складам сказал: «Алек-шандр», и я уложил Ивана и полез с нар. Немец стоял у дверей — коренастый, неподобранный и рыжий, как одуван в запретной черте нашего лагеря. Наверно, ему хотелось зачем-то, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте, — смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать.

— Моен, — невнятно и мрачно сказал немец. Я не понял, что это значило, и промолчал. Он оглянулся на дверь — крадучись и опасливо — и сунул правую руку в карман френча. Теперь трудно сказать, что из того вышло б, если бы я сделал то, о чем подумал в эту минуту: у немца отсутствовали глаза и правая рука; в колдобину он упадет плашмя и я тоже, но сверху, на него…

Но это не случилось.

Он дважды сказал: «Нимм»\*, а руку держал перед собой, — видно, хотел, чтобы я полез через колдобину, как вчера. Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался.

— Ду хает гут гефрюштюкт, я?\*\*

\* Возьми (нем.).

\*\* Ты хорошо позавтракал, да? (нем.)

Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и протянув ко мне руку, и я различил маленький квадратный пакет из серой бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важкость хлеба, его скрыто-живую телесную теплоту. Немцу б надо было уйти тогда, чтобы я отнес хлеб на нары и там посидел бы и как-нибудь сладил — справился с собой, со всем нашим пленным обруганным миром и с ним — охранником-бауэром в наших валенках без голенищ. Ему б уйти, но он обиженно-ожидающе смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака — недаром же он сам оглядывался туда!

— Ах, менш!

Он по— кошачьи махнул рукой в сторону дверей, перешагнул колдобину и подтолкнул меня к пустынным нарам, — пленные ютились в глухом конце барака, дальше от дверей. Мы сели и разом подобрали ноги. Я ощущал изнурительный запах хлеба, край пакета высовывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему.

— Нун, вас вартест ду нох? Ис дайн фрюштюк!\* — сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону дверей.

\* Ну чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак! (нем.)

Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять. Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык.

— Шмект эс?\*

Ему не надо было это спрашивать: не мог же я раболепно соглашаться, если ел так безразлично и лениво.

— Гут? — не унимался немец.

— Ну гут, гут! — сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе.

— Не дури там! Я помню! — сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подравнял еще немного углы и, когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман.

— Цу миттаг?\*\* — недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван.

— Да. На абенд\*\*\*. Мне! — подтвердил я, поторкав себя в грудь. Немец сказал: «Зеер гут», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда.

\* Вкусно? (нем.)

\*\* На обед? (нем.)

\*\*\* На вечер (нем.).

Нам пора было идти — немцу к себе, а мне к Ивану: тому хватало окаянства и без этого ожидания. Но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, — и царапно-кошачий взмах руки, и соломенная желтизна волос, и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохой стрелок: при нем, если броситься вправо, можно остаться живым…

Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам лет, — немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно пробираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они и не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя парами глаз больших, исступленных и гневных, как у святителей на церковных картинах, не потолкуешь!

— Чего он опять, а? — спросил у меня Воронов.

— Не знаю. Хлеб вот дал, — сказал я. Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, уткнувшись лбом в нары, будто молился. С этой минуты я стал ждать конца дня и исхода ночи: очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части, следующий снова на четыре, потом опять и опять…

Вилли Броде пришел в свое время. Он позвал меня от дверей и проворчал: «Моен». Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд — не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб намазан-ной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съел ленивей вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги.

— Поставь их сюда, — показал я на нары. Он понял и уселся, как я: составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями.

— Теперь легче, да?

Он отрицательно качнул головой, снял с левой ноги опорок, затем стащил серый, под цвет френча, шерстяной носок, и я различил там белесую копошащуюся россыпь.

— Лойзе\*, — объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно.

\* Вши (нем.).

— Ничего страшного, — сказал я. — У меня тоже есть.

— Филь? — оживился он.

— Хватает, — сказал я.

Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливы.

— Тебе их отрежут, — сказал я, потому что тут ничего нельзя было поделать. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли опять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал, — может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал:

— Тебе их оттяпают к чертям собачьим! И мне тоже оттяпают, мать его в плен, в войну, в стужу и в бурю!

Наверно, он по-своему понял этот мой причет, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы расползлись в улыбке, и он лапнул и потеребил мое плечо. Ушел он бодрей, чем вчера, — может, перестало щемить? Я проводил его до колдобины у дверей, и он кивнул мне и что-то сказал, — возможно, обещал приход назавтра.

Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю — половину вчерашнего — а остальное понес в конец барака. Тут дело было не в «святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении», — для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче — просто я знал, что после разового укуса хлеба доходяга оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего. Я это знал и нес хлеб — по разовому укусу — первым двоим доходягам. Возможно, так нужно было сделать сразу, вчера еще, но… все ведь видели, как это получилось у немца, у меня и у Воронова — моего напарника по побегам и нарам. Вчерашний день поминать нечего. Нынешний тоже не в счет. А завтра хлеб получат «свежие» четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще, — мало ли сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку!…

Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почему-то на ладонях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военинженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин — в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, назывался военинженером и ютился немного обособленно, в углу, — мы так захотели сами. Он сидел опершись на руки, подавшись к краю нар, и сумасшедшими святительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, срывным западающим голосом крикнул пленным:

— Товарищи! Помните, что я сказал… Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить! Крепитесь, товарищи!

Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял хлеб.

— К охранникам подлизываешься… Сволочь!

Это сказал не староста, а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мне в лоб.

— Ну чего ты? — спросил я и разломил хлеб на две части. — На! Ешь! Ну чего остолбенел?!

Он зажмурился и взял хлеб.

Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустынно. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он даже простился со всеми, кроме нас с Иваном, но этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Вилли Броде, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни «Вы жертвою пали» и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил зачем-то Ивана и полез с нар. К Тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде «смирно».

— В нечаянные мученики собрался, товарищ военинженер? Или в посмертные герои? — спросил я. — Ничего у тебя не выйдет… Останешься тут! С нами! Выше старосты не подымешься!

— Иди и делай свое черное дело! — шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел унтера Бенка и фельдфебеля Кляйна из комендатуры, — кто ж их у нас не знал! Между ними, в середине, шел Вилли Броде. Мундир на нем был распахнут и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли:

— Дизем?\*

\* Этому? (нем.)

Вилли поспешно и громко сказал: «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам.

— Дизем? — показал Кляйн на Тюрина. Я не услыхал, что сказал Вилли: Бенк шагнул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрин упал на нижний ярус нар и по инерции проехал вглубь, к стене.

— Брот брал я! Их! — сказал я фельдфебелю Бенку, и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. — Тот человек не ел! Это я один! Их!

Кляйн брезгливо, тыльной стороной ладони ударил Вилли — и тоже по рту, — а на мой затылок Бенк обрушил что-то тяжкое и кругло-тупое, как бревно. Я упал на пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, как уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, а они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижа-тыми к бокам…

Вот и все.

Между прочим, Иван Воронов остался жив.

Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отмороженные пальцы ноют по весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя слева и справа…1966

Уха без соли

Мы приезжаем сюда, на это свое потайное место, каждый год седьмого августа, часам к пяти пополудни, в любую погоду. Табор мы разбиваем в подлеске возле трех окостеневших дубовых пней, метрах в двадцати от озера. В нем мы до сумерек удим рыбу, а потом варим уху — хоть из двух ершей. В полночь мы обмениваемся взаимными подарками — по большому листу сахарной ботвы и по одной брюкве, величиной с кулак. Ботву и брюкву мы съедаем сразу и молча, потом принимаемся за уху и выпивку, а в два часа ночи начинаем петь песни.

Так мы с конца войны отмечаем день своего рождения, и то место, где мы разводим огонь, не зарастает никакой травой, глубоко, значит, прокалилась земля.

В этот последний наш выезд выдалась смирная серая погода с притушенным мглистым солнцем. Мы поймали девять окуней, но один оказался с кованым шведским крючком в верхней губе, — попадался уже раз, и его пришлось отпустить. Вечер подкрался рано и незаметно — тоже тихий, согласно-покорный какой-то, как ручной теленок. Над лесом за озером вставал большой тусклый месяц, и над землей реяла та засушливая жемчужная мгла исхода лета, что навевает человеку покойную цепенящую грусть. В этом настроении непостижимо споро ладится любая работа, — это оттого, видно, что рукам тогда не сообщается усилий, а уму конечная цель дела. Я легко и почти бесшумно срубил и расколол засветло еще облюбованную сухую ольшину, почистил картошку, рыбу, лук, а напарник мой все тер и тер озерным песком казан под уху — старинный медный котел с каким-то таинственным клеймом: там был изображен волк верхом на человеке. Котел увесист и гулок, как колокол, и уха в нем не остывает часами. Он хорош своей уютной круглостью и каким-то прочным и давним благополучием. К нему очень идет подовая коврига ржаного хлеба, — тогда любая зримая и предполагаемая беда кажется неугрозной и одолимой. Впрочем, все, что принадлежит моему другу, — его вот старенькая неказистая «Победа», самодельная брезентовая накидка для нее с круглыми марлевыми окнами, ухватная ясеневая ручка топора, которым я срубил ольшину, лещиновая удочка, отполированная до бубличного глянца, — все это выглядит долговечным, ладным и сноровистым, обещающим верность крепкой и охотной службы жизни, и все это каким-то странным образом похоже на своего хозяина. Я знаю это давно и наверное, потому что все, принадлежащее лично мне, подвержено прихоти различных капризов, поломок и стопорений, потому что мои вещи тоже похожи на меня самого…

Из озера ко мне на берег друг понес котел как дароносицу — осторожно и торжественно, стараясь не расплескать воду.

— Принимай, брат летчик!

Это говорится раз навсегда выверенным тоном, четко, серьезно и сострадательно. Я никогда не был летчиком, но мне не приходится обижаться: двадцать пять лет тому назад я на самом деле назвался ему летчиком-истребителем, сбитым под Вязьмой, в бою с пятью «мессерами». Не с одним и не с тремя, а с пятью, из которых двух я уничтожил будто бы с ходу. То был не к месту вздорный, даже там, в лагере военнопленных, не иссякший во мне запал мальчишеского тщеслав-ного вранья и бахвальства, за которым дрожал и бился простодушный расчет на внимание и помощь сильного, несловоохотливого пленного солдата Дениса Неверова. Потом, позже, выяснилось, что никакой я не истребитель, но с тех пор Денис Иванович называет меня летчиком — наедине, по ночам, в день нашего рождения. Я, в свою очередь, величаю его тогда «Диванович», вместо «Иванович»: в каком-то местечке на Брянщине он — уже будучи партизанским разведчиком — пробыл около двух часов в топчане, на котором в это время полусидел-полулежал немец, неурочно навестивший нашу связную-«гестаповку».

Это «летчик» и «Диванович» да еще вот ботва и брюква — предел в наших поминаниях прошлого. Оно не то что свято или проклято, но просто непосильно теперь нам. И даже невероят-но. Столько там изжитых стыдных унижений! Может, поэтому наши взаимоотношения в такие ночи грешат какой-то старомодной церемонностью и взаимопочтительностъю: мы лишний раз говорим друг другу «будь добр», «спасибо», «пожалуйста» и «благодарю», и движения наши спокойны и медлительны, и беседы отвлеченны и немного сентиментальны.

Я подвесил на рогатку котел и одной спичкой, это тоже входило в обряд нашего праздника, — разжег под ним дрова. Денис Иванович сел напротив меня и с какой-то элегической расслабленно-стью произнес благодарную хвалу Творцу, создавшему землю, небо, озеро и окуней.

— Хорошо, что человек не властен над этим, — сказал он и повел рукой по ночи. — Испортил бы, стремясь улучшить.

Он не сказал подходящего в этом случае «испаскудил» или «испоганил», — в такие ночи мы сознательно избегаем грубых слов, и я молчаливым кивком подтвердил свое согласие с ним и попросил, чтобы он был любезен и достал из машины соль.

— Чего? Со-оль? — с тихо нарастающей к миру враждебностью не сразу переспросил он.

— Совершенно верно. Соль. Для ухи, — подтвердил я, поняв его, и тогда Денис Иванович длинно и непутево выругался в стужу, в бурю и в свой склероз.

— Ты тоже, понимаешь, хорош: пришел с портфельчиком, уселся, как какой-нибудь директор пивзавода, и поехал. Не мог, понимаешь, поинтересоваться на месте! Гусь лапчатый!

Я посоветовал ему выражаться утонченней, но он сказал, чтобы я не придуривался и думал лучше, как добыть соль. Тогда я поинтересовался, постигает ли он теперь главную причину моральной неполноценности китайских хунвейбинов, но Денис Иванович сделал вид, что не понял меня, и поднялся от костра. В призрачной белесой мгле, под знойный стрекот кузнечиков и сухой подирающий вскрик коростелей, зрела ночь. Котел вздрагивал и даже тихонько погудывал, и от него исходил полынно чистый дух лаврового листа.

— Ну что будем делать, а?

Голос Дениса Ивановича звучал нетерпением и досадой. У нас было два выхода — остаться без ухи или завести машину, выбраться на шоссе и там на пятнадцатом километре отсюда, в домике дорожного мастера, разжиться солью. На этом мы и порешили, и я поодиночке, рыльцами вниз, опустил в бурунную благодать котла окуней и сотворил в душе хвалу Творцу за все мне посланное в жизни.

Вот под это все он и вступил в белый круг нашего костра, неслышно вступил, неожиданно, и оттого, как мгновенно пересохло у меня горло и как пригнулся и шагнул прочь Денис Иванович, я понял, что нам с ним никогда не избежать страха погони и застигнутости! Нет, узнали мы этого шатуна позже, минут двадцать спустя, и не лично его мы испугались, а вообще человека в ночи. На нем были до окоженелости заношенные солдатские брюки и китель, большая, от ветхости оранжевая железнодорожная фуражка и растоптанные кирзовые сапоги. В руках, на манер ружья, он держал удочки, а за спиной у него, налезая узлом на затылок, громоздился парусиновый мешок от надувной лодки. Наверно, он порядком устал, потому что сразу же освободился от лямок мешка, а затем уже поздоровался с нами и спросил, клюет ли.

— Да мы вот с другом словили на ушишку, — сдержанно сказал Денис Иванович и упомянул соль и свой склероз. Откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы у незнакомца оказалась соль и чтобы он вообще задерживался тут, у костра, — тогда разорялась наша ночь, но соль таки у него нашлась. Он сказал, что рыбак рыбака «должен выручать с пониманием», и каким-то спутанно-слепым и как бы бесцельным торканьем рук, будто их било непрерывным тиком, стал развязывать мешок.

С этого — бесцельного на первый взгляд метанья его рук и началось мое узнавание ночного гостя.

Он по— прежнему -если это был он! — выглядел сухим и рослым, но время тронуло его голос, — он осел и притух, сгладило и увеличило лоб, изменило нос, — он у него разбряк и покраснел, — подбило линькой глаза и высекло морщины по краям прежнего щелистого рта. Да, это был он, кого мы никак не должны были тут встретить, но мне хотелось, чтобы я ошибся и чтобы Денис Иванович как-нибудь подтвердил эту мою ошибку без моего намека.

Человек тем временем достал из недр своего мешка маленькую, на карман, холстинковую сумочку, туго наполненную и аккуратно завязанную шнурком от ботинка. В этакую тару влезает примерно граненая стопка соли. Не больше. Между прочим, в войну не было пленного солдата, чтобы он, готовясь к побегу, не таил за гашником такую вот сумочку с щепоткой в ней «бузы», добытой Бог знает как и где. Теперь трудно сказать, почему мы считали соль совершенно необхо-димым достоянием на воле, но это было так. Более того — сумочка с солью являлась как бы залогом благополучного побега. Лагерные полицейские хорошо знали, для чего пленный «шакалит» соль, и дважды в неделю подвергали нас подноготному обыску, и когда находили сумочку, завязанную обычно тесемкой от обмотки или шнурком от ботинка, то…

— Хватит? Или добавить?

Пришелец протягивал мне соль на ладони, минуя костер, но у меня прочно были заняты руки, — левой я придерживал рогатину, а правой зажимал ложку и помешивал ею в котле. Я помеши-вал, глядя на огонь, и ждал, как поступит Денис Иванович, отвергнет он соль или примет, и как в этом случае быть с моей догадкой. В это время как нарочно выдалась длинная минута тишины, — даже кузнечики примолкли, и только звонисто гудел котел, и у меня появилась боль напряжения в затылке — это ведь одно и то же: дает человек или просит, его нельзя оставлять с протянутой рукой. Возможно, что я в конце концов подставил бы ложку под эту чужую руку, если б Денис Иванович чуть-чуть помешкал, но из нас двоих он первый не выдержал и принял соль. Тогда мы и обменялись с ним взглядами, и никакой разговор о госте — ни длинный, ни короткий — нам уже был не нужен. Тот копался в своем мешке, упрятывал на прежнее место сумочку, когда Денис Иванович проговорил каким-то клеклым голосом:

— А ведь мы тебя, пожалуй, знаем!

Гость поднял голову и, щурясь через костер, отчего казалось, что глаза у него смеются, оглядел нас вскользь и без интереса.

— Знаем ведь, летчик?

Это опять сказал Денис Иванович, обратись ко мне, и тогда опознанный нами человек засмеялся на самом деле — коротко и квохчуще, будто охал.

— Где ты служил летом сорок второго года?

Мне, пожалуй, не следовало сбиваться на крик, но так уж вышло. Зато он тоже спросил нас прежним, тем, визгливо осатаневшим голосом:

— А вы сами тогда где были? В вяземском лагере, выходит, отсиживались, да? Шкуры берегли, а потом мученья себе выдумывали, чтоб оправдаться?!

— Слыхал? — пораженно сказал мне Денис Иванович, — Ты понимаешь, чьи слова он повторяет, свол… сволочь?

Он рассевным взмахом кинул соль в костер и вдруг по-ребячьи обиженно всхлипнул и уткнулся лицом в колени. Это было некстати, ненужно, а главное, невероятно: Денис Неверов всегда казался мне человеком-кремнем, и, может, только за это за его надежный, выносливый и какой-то себе-на-умешный вид — ему больше других выпадало в лагере плетей и палок. В тот наш последний лагерный день — седьмого августа сорок второго года — ему спутанно-слепым и как бы безадресным взмахом арапника с мудреным свинцовым нахвостником полицай рассек лицо. Я к тому времени уже ходил бок о бок с ним потому, что был летчиком, сбившим двух «мессеров», а таких он ценил. По этому праву я попытался тогда утешить его, но он засмеялся и сказал, что пехота — не авиация, она, мол, выдюжит, — намекал на мою жидковатость: временами я не выдерживал и ревел. При нем. В тот день — седьмого августа — мы работали километрах в пяти от Вязьмы, где стояли немецкие зенитные батареи. В полдень над ними появился наш «ястребок» — невысоко, беззащитно и нам нужно. Немцы сбили его быстро, и когда он закувыркался вниз, Денис Иванович похоронно сказал мне:

— Вот. Еще один твой приятель…

— Ему, идиоту, надо было ложиться в пике или делать бочку! — сказал я. Он посмотрел тогда на меня с надеждой, и я поверил, что могу быть сильным.

Вечером мы бежали. А в полночь Денис Иванович разрешил мне на первый раз съесть лист сахарной ботвы и одну брюкву. Сам он съел две брюквы, потому что полагался на свою выносливость…

Теперь, спустя четверть века, он сидел у своего праздничного полевого стола и плакал. При мне. И при нем — бывшем полицае. Его, посланного нам сюда недоброй прихотью черта, отделял от меня метр земли, прокаленной нашими торжественными кострами, котел со странным клеймом, несколько ольховых чурок и ладный, ухватный топор. Мне ничего не мешает признаться в своей тогдашней летучей мысли об аморальности для людей любого неотмщенного преступления, и он, бывший полицай, каким-то сверхсознательным чувством догадался об этой моей мысли, потому что вскочил на колени и крикнул, косясь на топор отрешенно и помешанно:

— За вас с меня уже взяли! Слышите? И по закону не положено наказывать два раза за одно и то же, слышите?!

Он все тем же тиковым движением руки сшиб со своей головы фуражку, и на его гладком голом темени я увидел при бликах костра крупные бисеринки пота. Мне невольно подумалось: как здорово он полинял! Там, в Вязьме, он ходил в форме советского командира-танкиста, с выпилен-ной звездой в пряжке ремня. С левого плеча у него, как аксельбант, свисал крупный ременный арапник с мудреным свинцовым нахвостником. Им он…

— Ты же убивал, а сам вот жив!…— почему-то шепотом, горько и потерянно сказал Денис Иванович, а тот все стоял на коленях, и отсветы костра метались по его лицу, отчего казалось, что оно искажается диковатыми гримасами, и хотелось, чтобы он сел или встал и накрылся своей нелепой фуражкой.

— Сколько людей там… А ты вот жив! — опять проговорил Денис Иванович и зачем-то потрогал свои колени, бока и грудь, словно отыскивал самого себя. Было трудно молчать и ждать, пока гость оправлял на себе лямки мешка, насаживал на голову фуражку и поворачивался к нам спиной. За пределами желтого ока костра он не то споткнулся, не то остановился по воле и глухо, вполголоса, как сообщникам по ночной краже, сказал нам:

— Не один я убивал и не один живу. Небось за свои лагеря тоже мало кто ответил!

— Во, гад, куда метну-ул! — растерянно проговорил Денис Иванович и страдающе поглядел на меня. — То же культ был, отрёбник ты чертов! — крикнул он во тьму и поднялся на ноги. Было томительно тихо. Потом не скоро в прибрежной осоке, на мелкоте, звучно и грузно плеснулась большая рыба, и лунная оранжевая тропа на озере заколыхалась и сморщилась. Мы некоторое время подождали чего-то, потом Денис Иванович пошел к машине, и я услыхал, как там что-то сдвоенно стукнулось о землю и покатилось к озеру — брюкву выбросил. Тогда я остатками выкипевшей, обаландившейся ухи загасил костер. Мне ничего не хотелось — ни есть, ни пить, ни спать, ни бодрствовать.

— Сейчас, наверно, у нас на Урале мед качают, — не в связь с событиями этой нашей ночи сказал вдруг Денис Иванович.

Я промолчал.

— Говорю, мед у нас качают сейчас! — уже с явным раздражением проговорил он.

— Ну и пусть качают, — сказал я.

— Пусть, пусть! Давай лучше помоги сиденья в машине раздвинуть. Спать будем, нечего тут!…

Мы улеглись, стараясь не задевать друг друга, но телу сразу же стало неудобно, ломотно и беспокойно: сквозь марлевые окна накидки в машину проникали жалящие запевы комаров, и от них все время приходилось отмахиваться впустую, а потом, уже на закате месяца, с противополо-жного конца озера, с какого-то, видать, голого там пригорка, к нам трепетно пробился продолговатый и узенький косячок света приземленного пламени. В ночном костре, если смотреть на него издали, всегда чувствуется что-то тревожное и неприкаянное, и почему-то хочется тогда знать, кто его жжет, что на нем варит и о чем думает. Мне казалось, что Денис Иванович давно спит, но он спросил, есть ли у меня, черт возьми, закурить или нету, и полез из машины. Вернулся он часа через полтора, когда на востоке уже рдело небо и над озером всходили и текли на берег клочья парного тумана. Я сидел на подножке машины и курил.

— Расстрел дали, — издали сообщил он мне.

Я ждал.

— Потом заменили четвертаком. Шестнадцать отбыл… Это все-таки не шестнадцать месяцев, правда?

— Конечно, — сказал я.

— Не спит… Уставился в огонь, как сыч, и сидит. Ему есть о чем подумать, — сказал я.

— А мне не о чем, что ли? Я ее, Вязьму, двадцать шесть лет трижды на неделе во сне вижу!

— Давай поспим, — сказал я. — Мне она тоже снится.

— Снится, снится! Вот она, наша славянская душа! Не можем до конца сохранить ненависть к преступнику и насильнику над собой, не можем!

— Не ворчи, философ вяземский! — сказал я.

— Философ, философ!… Ну, спокойной ночи. Тебе там не поддувает в окно?

— Нет, — сказал я. — А тебе?

— Тоже нет, — сказал он.

Утром, уже при палящем солнце, мы настигли его на шестом или седьмом километре от озера. Он брел со своим мешком посередине дороги, и Денис Иванович не стал сигналить и объехал его с левой стороны по засеву желтого люпина. На подъезде к шоссе мне запоздало подумалось, что хорошо было бы привезти люпиновый букет домой прямо с обросевшими на нем шмелями, и в ту же секунду Денис Иванович резко затормозил и остановился.

— Слушай, — просяще сказал он, — а ну его к черту, пускай садится, а? А то плетется, как мы тогда!…

Он глядел на меня сердито и ожидающе. Я закурил и промолчал. В зеркале мне виднелась недвижно повисшая сзади нас над дорогой густая оранжевая пыль…

1967